18+



Ирина Ященко

Молчание святого эгоиста

«Попробуй одну пуговицу расстегни. Верхнюю. Я проверю».

Ирина Ященко
Молчание святого эгоиста

https://litres.ru/74986634
ISBN 9785007179027

Аннотация

Медсестра неврологии Есения Филин привыкла читать людей как истории болезни: у каждого — скрытый диагноз, свой расчёт, своя выгода. Ян проходит мимо и смотрит иначе, чем остальные. Подвоха в нём нет. Или она просто ещё не нашла. Есения хочет одного: не повторить историю. Вокруг нарастает шум — и среди шума — тишина одного человека, подозрительно похожая на правду. Слишком ровная, чтобы быть совпадением.

Можно ли доверять тому, кто ничего не требует взамен?

Содержание

Глава 1. Тридцать семь шагов 5
Глава 2. Норма без симптомов 23
Глава 3. Слишком ровно 37
Глава 4. Без протокола 53
Глава 5. Лев картавит 67
Глава 6. Анамнез семьи 81
Конец ознакомительного фрагмента. 89

Молчание святого эгоиста

Ирина Ященко

© Ирина Ященко, 2026

ISBN 978-5-0071-7902-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. Тридцать семь шагов

Служебный вход открывается с третьей попытки — замок барахлит. Есения считает шаги от двери до сестринской. Тридцать семь. Так было вчера, так было год назад. Если выходит тридцать восемь — значит, обходила каталку. Если тридцать шесть — значит, срезала угол у поста. Сегодня тридцать семь. Отделение в порядке.

Запах встречает раньше, чем звук. Хлорка поверх всего, но под ней — подогретая каша, которую опять не доели на завтрак, и что-то третье, без имени: то, что накапливается в палатах за ночь и не выветривается до обеда.

И звук. Скрип колеса на стыке плитки, где линолеум приподнялся у поворота. Не громкий, не резкий — просто повторяющийся. Колесо цепляет стык и скрипит коротко, на одной ноте, как комар, которого не видно, но который уже здесь. Внутри что-то дёргается — коротко и зло. Она не морщится, не оборачивается. Идёт дальше. Санитары могли бы смазать колесо. Она говорила. Трижды. Никто не смазал.

Коридор неврологии в семь сорок — это ещё не день и уже не ночь. Лампы дневного света гудят ровно, без интонации. Где-то за поворотом звякает судно, кто-то стонет коротко и тут же замолкает, будто устыдился звука.

У поста — медсестра ночной смены. Фамилию Есения помнит, имя нет. Она стоит над стопкой карт, перебирает их,

останавливается, начинает заново. Руки двигаются медленно, как через воду. Находит нужную, поднимает — и роняет. Карта ложится на пол. Медсестра смотрит на неё секунду дольше, чем нужно, потом наклоняется.

Тётя Зина возит шваброй у самого поста, методично, квадрат за квадратом. Заметив Есению, не здоровается вслух — только поднимает глаза на секунду и снова опускает в серую воду ведра. Тётя Зина кивает в сторону реанимации — коротко, одним движением подбородка, — и Есения понимает: ночь была тяжёлая, у палаты ругались, а там, за стеной, кто-то умер. Не здесь. Не их забота.

— Как смена? — говорит Есения.

— Длинная, — отвечает тётя Зина, не поднимая головы. Выжимает тряпку, звук воды — единственное, что заполняет паузу. — Ты молчи. Молчи и работай. Слова — шум. Дело — тишина.

Есения кивает. Тридцать лет на этом полу — тётя Зина знает про отделение больше, чем вся ординаторская.

Сестринская пахнет кофе из банки, который кто-то всё же сварил, несмотря ни на что. Шкафчик открывается со скрипом, внутри — зеркальце, прилепленное изнутри скотчем, мутное, в разводах от чужих рук.

Есения смотрит в него, пока расстёгивает пуговицы кофты. Лицо напротив — спокойное, без красноты, без следов бессонной ночи, ночь была дома, своя, обычная. Волосы собраны туго, ни одной пряди не выбивается. Глаза серые, без

выражения, как у человека, который давно перестал проверять зеркало на предмет новостей о себе. Птица на правом плече видна в вырезе майки секунду, пока не ложится халат сверху, — маленькая, почти незаметная, будто улетела бы, если б могла, да уже некуда.

Кожные покровы чистые, высыпаний нет, сознание ясное. Дальше можно не углубляться.

Диагноз был поставлен давно, лет пять назад, и с тех пор пересмотру не подлежал. Есть только привычка проверять шов на прочность время от времени — прощупать, убедиться, что срослось правильно, что не будет хромать, если нагрузить.

Хромать она не собирается.

Халат застёгивается на все пуговицы, снизу-вверх, всегда в одном порядке. Бейдж — на грудной карман. Часы — на левое запястье поверх тонкой линии татуировки — там, где кожа чуть светлее, будто эта полоска стирает загар.

На посту уже лежит стопка карт, сложенных по палатам, по порядку коек. Ночная смена оставила всё аккуратным столбиком: оставить порядок тому, кто придёт после, — единственная благодарность, которую здесь умеют.

Есения берёт верхнюю папку. Фамилия, год рождения, диагноз, назначения. Обычный лист, по которому видно: кому-то сегодня будет легче, а кому-то тяжелее. Она листает, не читая, — информация укладывается сама, без усилия.

В коридоре снова звякает что-то металлическое, далеко,

со стороны реанимационного блока. Там свой ритм, своя громкость, своя степень срочности. Здесь — медленный мир: инсульты, которые восстанавливаются месяцами, парезы, которые учатся заново держать ложку, деменция, которая забывает собственное имя быстрее, чем имя дочери. Здесь время течёт иначе — тягуче, как сироп, который никак не закипит.

Тётя Зина за спиной отжимает тряпку последний раз, сворачивает ведро и катит его дальше, к следующей палате, оставляя за собой мокрую полосу, в которой ещё минуту отражается свет из окна.

Есения смотрит ей вслед, просто фиксируя движение в поле зрения.

Папка под мышкой, авторучка в кармане, лицо спокойное — то самое, из зеркала, без единой трещины на поверхности. Можно выходить на обход.

* * *

Палата на четверых. Койка у окна — капельница почти докапала. Есения перекрывает зажим, меняет флакон, снова открывает: пузырьки идут ровно, значит, вена держит.

Соседняя кровать — смена белья. Пациентка сама приподнимается на локтях, помогает, бормочет про внучку, которая вчера звонила. Есения кивает. Слышит «вчера». Слышит «звонила». Остальное проходит мимо.

Руки подворачивают простыню с угла — туго, без складок.

На третьей койке — женщина лет семидесяти, глаза закрыты, но не спит: пальцы теребят край одеяла. Тонометр показывает сто шестьдесят на девяносто. Есения записывает, прикидывает: подождать час. Не спадёт — звать старшую — Галину Сергеевну.

Привычная арифметика смены: кто сам справится, кто подождёт, кто не может ждать.

В четвёртой палате — мужчина лет пятидесяти, третьи сутки после инсульта, правая сторона лица тяжелее левой, будто кто-то неаккуратно стёр черты с одной половины ластиком. Когда Есения входит, он уже смотрит в её сторону — не на неё, а в сторону двери вообще, как смотрят на любой звук в комнате, где сам не можешь позвать.

— Доброе утро — говорит она, подходя. Голос ровный, без заискивания, каким разговаривают со всеми здесь, независимо от того, слышат тебя или нет.

Он мычит. Звук идёт из горла — глухой, с усилием, будто слово застряло где-то за связками и не может найти выход. Левая рука дёргается в сторону тумбочки.

Есения переводит взгляд на тумбочку. Стакан с водой, пустая упаковка от таблеток, полотенце. Три предмета. Упаковка пустая — значит, не она. Остаётся два.

— Пить? — спрашивает она, беря стакан.

Он мотает головой — резко, насколько позволяет парализованная половина лица, — и снова мычит, уже злее, громче, гласные перетекают друг в друга без согласных, без фор-

мы. Рука снова тычет в сторону тумбочки, в воздух, никуда конкретно.

Она ставит стакан, берёт полотенце. Он замирает на секунду — не то. Отворачивает голову, насколько может, к стене, и звук, который вырывается теперь, уже не мычание, а что-то похожее на рык, застрявший в горле человека, который ещё неделю назад разговаривал нормально, шутил с внуками, — и всё это теперь заперто внутри черепа, как в комнате без двери.

Есения стоит, не торопится. Смотрит на тумбочку ещё раз, медленнее. Упаковка от таблеток — нет, использована. Полотенце — нет, уже пробовали. Остаётся угол, за стаканом, где лежат очки в футляре: он забыл про них или не может дотянуться.

Берёт очки, протягивает. Он берёт их здоровой рукой, неловко, роняет почти сразу; она ловит на лету у самого края кровати, вкладывает снова, помогая пальцам сомкнуться. Он надевает их одной рукой, криво, одно стекло выше другого, но смотрит на неё теперь иначе — не мычит больше, просто дышит тяжело, и в глазах что-то оседает, как оседает муть в стакане воды, если постоять не двигая.

Она поправляет дужку, чтобы не давила за ухом. Фиксирует в карте: пациент беспокоен, афазия, коммуникация жестами.

Его молчание — отняли.

Мысль всё равно проходит сквозь — как сквозняк через

неплотно закрытую форточку: оставляет холодок и уходит, не задерживаясь.

Он снова мычит, тише теперь, устало, просто звук, не требование. Она кивает — не ему, а самому факту, что звук был, — и выходит, прикрывая дверь так, чтобы не хлопнула.

В коридоре тишина другого порядка — не больничная, не напряжённая, а просто дневная, обеденная, когда каталки стоят у стен и никто никуда не торопится. Есения считает шаги по привычке, не замечая, что считает: до конца коридора — двадцать два, до сестринской, если свернуть у окна, — тридцать семь. Цифры идут сами, без участия мысли, как метроном, который включился давно и не выключался с тех пор.

Следующая палата — шестая, по списку. Фамилия в начале строки ей ещё не знакома.

* * *

Шестая палата — две кровати, одна пустая, вторая у окна. Табличка на кровати сменена утром: Орлова Нина Павловна, 82 года, инсульт, поступила вчера вечером. Есения открывает карту, читает диагноз, параллельно оглядывает комнату.

Женщина лежит на спине, подушка взбита неровно — видно, что сама поправляла, а не санитарка. Руки поверх одеяла, пальцы сцеплены в замок. Волосы седые, собраны в косу, туго, аккуратно — кто-то заплетал с утра, или рука ещё слушается хотя бы наполовину. Левая сторона лица чуть опущена, уголок рта тянет вниз — обычный рисунок

после инсульта. Ничего, что цепляло бы взгляд. Кроме спины. Прямая, насколько можно быть прямой лёжа, плечи не завалены, подбородок не упал на грудь.

— Здравствуйте. Измерю давление.

Нина Павловна поворачивает голову медленно, будто экономит движение на потом. Смотрит долго, изучающе, не как пациенты обычно смотрят на медсестру, с ожиданием или раздражением, — а с каким-то спокойным интересом, будто сверяет по памяти.

— Меряй, — говорит. Голос хриплый, но без одышки: слово выходит целиком, не обрывается.

Есения накладывает манжету, слушает, записывает цифры. Сто сорок на девяносто — для возраста и состояния — терпимо.

— Родственники приходили?

— Нет.

— Звонили?

— Нет.

Молчит после этого слова, не добавляет ничего, не объясняет, не оправдывается за них и не жалуется на них. Просто факт, зафиксированный ровно, как цифра давления. Есения записывает в карту: родственники не контактировали. Строка выходит такой же сухой, как ответ.

— Сын в Новосибирске, а дочь в Калининграде — говорит Нина Павловна сама, без вопроса. — Внуки там же. Звонят редко, по праздникам в основном. Сами понимаете, ра-

бота у всех.

— А тут кто?

— Никого тут. Я тут всю жизнь.

Есения снимает манжету, сворачивает её, кладёт на тумбочку рядом со стаканом воды, который стоит нетронутым с утра, судя по уровню. Нина Павловна провожает движение глазами, не поворачивая головы больше, чем нужно.

— Воды хотите?

— Сама.

Короткое слово, но в нём что-то упрямое.

Есения не настаивает. Отходит на шаг, поправляет капельницу рядом с койкой, хотя там поправлять нечего, просто занимает руки, пока смотрит боковым зрением, как Нина Павловна тянется к стакану правой рукой, медленно, с усилием, которое не показывает на лице. Достаёт. Пьёт маленькими глотками. Ставит обратно, не расплескав.

Спина за всё это время не сгибается ни на сантиметр.

Есения узнаёт эту спину. Она видела такую у матери — когда отец однажды не пришёл ночевать, а мать ждала на кухне до утра, сидя прямо, не плача, не звоня никуда. Видела у себя в зеркале, когда Марк в последний раз закрыл за ней дверь.

« — Коса красивая», — говорит Есения, просто чтобы сказать что-то, не связанное с диагнозом.

— Сама заплела. Левая не слушается ещё, но правая помнит.

— Долго учились?

— Шестьдесят лет плету. Куда она денется, память в руках.

Нина Павловна смотрит в окно, за которым ничего особенного — кусок неба, верхушка тополя, больше ничего не видно с этой койки. Смотрит так, будто там что-то есть, что видно только ей.

« — Халат у тебя», — говорит вдруг Нина Павловна, не поворачиваясь.

Есения опускает взгляд. Застёгнут до горла, все пуговицы на месте.

— Петя — муж мой, когда злился, говорил: «Ты как на бронежилете застёгнута». — Пауза. — Смеялся. А мне нравилось.

Есения не отвечает. Рука делает лишнее движение. — записывает в карту время последнего приёма пищи, хотя уже записала.

— Он у меня военный был, — продолжает Нина Павловна в окно. — Говорил: Нина, ты не в бронежилете, ты сама бронежилет. Я обижалась. А потом привыкла. Хожу, вся на пуговицах, спина прямая, шаг ровный — не подступиться. — Она чуть поворачивает голову. — А когда Петю хоронила, шинель его в шкаф убрала, застёгнутую. Раз в год открою, пуговицы пересчитаю — и обратно. Всё на месте. А толку?

За окном ничего не меняется — кусок неба, верхушка тополя.

« — Ты вон стоишь — ровно, как по линейке», — говорит она тише. — Я так же стояла. Думала: если всё правильно, никто не заметит, что неправильно мне. А ты попробуй раз. Одну пуговицу расстегни. Верхнюю. Я проверю.

Есения кладёт ручку в карман.

— Отдыхайте, — говорит она наконец. — Я зайду вечером.

— Заходи, — отвечает Нина Павловна.

Есения выходит, прикрывает дверь. У порога задерживается на секунду дольше обычного, рука ещё на ручке, взгляд успевает зацепить через щель край подушки, косу, неподвижный профиль у окна. Потом отпускает дверь, и та закрывается тихо, без звука, как и положено.

В коридоре она не считает шаги. Впервые за обход — не считает.

* * *

Сестринская пахнет растворимым кофе и чем-то палёным — кто-то опять забыл выключить электрочайник вовремя. Валерия сидит на подоконнике, нога на ногу, кружка в руке, голос такой, что слышно через две двери.

— …а он ей говорит: «Это не моя подпись». А подпись-то его, все знают. Галина Сергеевна стоит красная, трясётся вся, он ей опять: «Не моя». Три раза повторил! Пока она не заплакала.

Смех. Не злой, — усталый.

Есения заходит, берёт кружку с полки — свою, с отколо-

той ручкой, никто больше ею не пользуется, — наливает воду из чайника, не дожидаясь, пока закипит до конца. Садится в угол, у окна, где труба отопления греет спину зимой и просто есть куда прислониться сейчас, когда труба ещё холодная.

— Представляешь, — продолжает Валерия, уже кому-то персонально, — третий раз за месяц. Приёмное — это цирк без билетов.

Кирилл заходит следом за ней, задевает плечом косяк, тянется к чайнику.

— Кофе кто-нибудь варил нормальный, не этот растворимый ужас?

Никто не отвечает. Он наливает себе того же растворимого, мешает ложкой дольше, чем нужно, потом поворачивается к Есении — будто только заметил, хотя она сидела тут с самого начала.

— Как обход?

— Нормально.

— Нина Павловна как тебе?

— Нормально.

Он кивает, будто ждал другого ответа и теперь решает, что делать с этим. Улыбается — неуверенно, с той попыткой лёгкости, которая у новых врачей ещё не отшлифована об отделение.

— Ты вообще когда-нибудь говоришь больше одного слова?

— Когда нужно.

Он смеётся коротко, не зло, скорее растерянно, и отходит к окну, где Валерия уже снова что-то рассказывает про приёмное, про чьи-то анализы, про медсестру из хирургии, которая вышла замуж за пациента.

« — Филин опять на вершине, в своём мире, с простыми смертными не разговаривает», — говорит Валерия, не понижая голоса, обращаясь ко всем сразу и ни к кому. — «Фииилиииин»: Есения Филин — звучит из уст Валерии, как «Ваше Высочество». Вам там как, не холодно?

Смех — тот же, что был минуту назад про Галину Сергеевну. Короткий, общий, не персональный почти. Кто-то фыркает в кружку. Кирилл не смеётся, но и не вступается, просто смотрит на свой кофе с преувеличенным интересом.

Есения пьёт чай. Не горячий ещё, скорее тёплый, вода не успела дойти до кипения, и от этого вкус пустой, никакой, просто жидкость. Она не отвечает Валерии. Не потому что обиделась — для обиды нужна неожиданность, а тут неожиданности нет. Это как дежурный вопрос у постели — «как самочувствие» — на который отвечаешь «нормально», даже если болит.

За окном во дворе санитары катят каталку, колесо скрипит одинаково который год подряд, никто не смазывает. Есения смотрит туда, не на Валерию, не на Кирилла, который всё ещё стоит с кружкой, не зная, уйти ему или остаться и доказать что-то себе про вежливость.

Валерия уже рассказывает что-то новое, про анестезио-

лога из реанимации, кто-то спрашивает имя, она смеётся, не отвечает прямо, тянет паузу специально, чтобы спросили ещё раз.

Есения допивает чай до половины, ставит кружку на подоконник рядом с собой: немного на дне — привычка, не экономия. Встаёт.

« — Пойду посмотрю капельницы», — говорит она.

Никто не отвечает.

* * *

Коридор неврологии после сестринской — тот же запах, другая температура. Форточка в конце открыта, тянет сквозняком, кто-то забыл закрыть.

Из дверей реанимации появляется Ян Викторович с подносом — пустые шприцы, использованные ампулы, лоток для отходов класса Б. Идёт не торопясь, как будто у него есть время, которого в реанимации по определению не бывает. Другие реаниматологи в этом коридоре либо бегут, либо делают вид, что бегут, — часть профессиональной маски. Ян идёт обычным шагом, и это выглядит почти вызывающе.

Есения стоит у поста, проверяет капельницу в седьмой палате через стекло — скорость не та, нужно подойти. Но не подходит пока, смотрит на коридор.

Он не ищет повод остановиться. Не делает того, что делают остальные врачи, проходя мимо медсестёр, — короткое «как дела», дежурная улыбка, взгляд, который считывает, стоит ли тратить секунду на разговор. Ян просто идёт к

утилизационной, и когда поравнивается с постом, смотрит на неё. Не скользит взглядом, как смотрят на мебель в коридоре. Смотрит прямо — на секунду дольше, чем требуется, чтобы просто увидеть человека и отвести глаза.

Есения ловит этот взгляд и пытается его классифицировать.

Не любопытство. Любопытство она знает наизусть, видела его на лицах новых врачей в первую неделю — быстрое, цепкое, ищущее зацепку для разговора. Кирилл так смотрел в сестринской, прежде чем спросить про одно слово.

Не жалость. Жалость — другое, она липкая, с наклоном головы, с особой мягкостью в голосе, которую используют, говоря с одинокими пациентками вроде Нины Павловны. У Яна лицо не меняется, ни один мускул не просит прощения за то, что смотрит.

Что-то третье. Есения не находит слова сразу, перебирает варианты, как перебирает дифференциалы при неясной клинике: исключает одно, другое, остаётся то, что не укладывается ни в один известный диагноз.

Он кивает. Коротко, одним движением подбородка, без улыбки, без слов — так кивают человеку, которого узнали, а не которому хотят понравиться.

Есения кивает в ответ. Тоже коротко. Тоже без слов.

И это всё. Он идёт дальше, к утилизационной, скрывается за дверью с красной полосой — поднос в руках не качается, шаг ровный.

Есения остаётся стоять у поста ещё секунду, смотрит в пустой теперь коридор, туда, где он только что был.

Затем поворачивается к седьмой палате, идёт проверять капельницу. Считает шаги. Обычно досчитывает быстро, ровно, не замечая самого счёта, как не замечаешь собственное дыхание.

Сейчас сбивается. На пятом шаге ловит себя на том, что идёт медленнее, чем обычно, будто тело решило растянуть расстояние, которое всегда проходила за одно и то же время. Не специально. Просто ноги не торопятся.

Останавливается у капельницы, поправляет зажим, цифры на флаконе выравниваются с нужной скоростью — восемнадцать капель в минуту, порядок восстановлен.

Что-то сдвинуто на несколько секунд, как будто кто-то тронул часы в сестринской и забыл поставить обратно.

Она записывает в карту время, подпись, возвращается к посту. По дороге снова считает шаги, но теперь уже не может не считать и не может не замечать, что считает иначе — внимательнее, медленнее.

Это не повод для выводов. Пока — просто наблюдение, факт в истории болезни, который заносят без комментария, потому что рано делать заключение.

Но заносят.

* * *

Коридор пустеет к восьми. Смена сдана: Галина Сергеевна приняла пост без вопросов, карты лежат стопкой, зажимы

на капельницах выставлены, у седьмой палаты свет убавлен до ночного режима. Есения переодевается в сестринской, вешает халат на крючок с биркой «Филин Е. В.», завязывает шнурки на кроссовках — медленно, без спешки, которой не осталось.

Идёт к служебному выходу тем же маршрутом, что и утром. Считает шаги. Тридцать семь, дальше — к лестнице, к турникету, к двери с кодовым замком. Сегодня цифра не сходится третий раз подряд, сбивается где-то между постом и аптечным шкафом, и Есения не пересчитывает заново. Оставляет как есть.

На лестничной клетке пахнет сыростью бетона и чем-то металлическим — трубы отопления тянутся вдоль стены, старые. Есения держится за перила без надобности, просто чтобы рука что-то делала.

Турникет пикает, пропускает карту, дверь поддаётся с тяжёлым щелчком. Есения выходит на крыльцо, останавливается.

Двор больницы под фонарём — асфальт в трещинах, лужа у бордюра держит жёлтый отсвет лампы, кусты вдоль ограды стоят тёмные, без формы в темноте. Ни одной машины, кроме дежурной «скорой» у приёмного покоя, мотор заглушен, водитель курит у колеса, огонёк сигареты то разгорается, то тухнет.

Есения стоит на верхней ступеньке, куртка не застёгнута, холод вечера трогает запястья через рукава.

Но сегодня — трещина. Тонкая, под миллиметр, из тех, что видны только на снимке, если знать, куда смотреть.

Есения не называет её. Рано.

Она застёгивает куртку, спускается со ступенек, идёт через двор к автобусной остановке, туда, где фонарь светит ровнее. Где-то за оградой лязгает трамвайный путь — звук гулкий, рассыпчатый, долетает с опозданием, будто город решил напомнить о себе напоследок.

Есения не замечает, что улыбается этому звуку одним уголком рта, едва.

Глава 2. Норма без симптомов

Сестринская должна быть пустой в это время. Есения знает расписание отделения: в четыре у всех пересменка, в четыре пятнадцать — обход, между этими точками коридор и кабинеты стоят выключенными, как лифт между этажами. Она рассчитывает на тишину — на минуту, чтобы достать карту и уйти без лишних слов, адресованных кому бы то ни было.

Дверь открывается, и тишины нет. Ян Викторович сидит на краю стола, не на стуле, держит кружку обеими руками, будто греет их, хотя кофе явно остыл минут десять назад. Кружка синяя, на боку надпись: **«Кирилл Игоревич, лучший невролог 2022».**

Есения останавливается в дверях на секунду дольше, чем нужно. Потом идёт к шкафу с картами.

« — Это Кирилла», — говорит она, не оборачиваясь, вытаскивая нужную папку из стопки.

— Знаю, — отвечает Ян. Не оправдывается, не объясняет, зачем взял. Отпивает ещё глоток остывшего кофе. — У меня своей нет. Потерялась ещё в июле. Подозреваю, её украли те же, кто ворует ручки.

Голос ровный. Фраза падает и лежит, как положенный на стол инструмент, и дальше он не следит, подняла она её или нет.

Есения не улыбается. Она садится за соседний стол, раскрывает карту Орловой Нины Павловны, и начинает листать записи дежурного невролога, ищет динамику давления за сутки.

Комната маленькая, два стола, шкаф, окно с видом на внутренний двор, где стоит дежурная «скорая». Ян сидит слева, за её спиной, вне поля зрения, и всё равно она знает, где он — так, как знаешь положение собственной руки в темноте, без необходимости смотреть. Это раздражает. Она читает строчку про давление дважды, прежде чем цифры укладываются в смысл.

Он не спрашивает, что она читает. Не пытается завести разговор через Нину Павловну. Он молчит, и в этом молчании нет ничего специального. Оно просто есть.

Есения листает дальше. Дыхание ровное. Пульс — тоже, насколько можно судить без аппарата, просто по ощущению в висках. Она привыкла проверять себя этим методом годами: если тело спокойно, значит, повода для тревоги нет. Сейчас тело спокойно, но где-то между рёбрами держится лёгкое натяжение, как перед тем, как палец нажимает кнопку лифта, не зная, на каком этаже он остановится.

Ян допивает кофе. Ставит кружку на край стола, не моет, не убирает, просто ставит на то же место, где она стояла до него, аккуратно, чтобы не звякнула о стол. Поднимается без видимого усилия.

« — Хорошего дежурства», — говорит он. Фраза, адресо-

ванная работе, а не ей лично.

Дверь закрывается за ним тихо, без хлопка. Шаги в коридоре удаляются, не быстро, не медленно, ровно, так же, как и голос.

Есения продолжает листать карту. Строчка про давление наконец укладывается в смысл: сто тридцать на восемьдесят пять, в пределах нормы для возраста и диагноза. Она записывает цифру в блокнот, привычным мелким почерком. И ловит себя на том, что всё ещё сидит с ручкой в руке, хотя писать больше нечего. Пауза, которая должна была закончиться на его шагах в коридоре, не заканчивается.

Повода нет. Ян ушёл так же просто, как пришёл. И это хуже, чем если бы он остался.

Есения закрывает карту Нины Павловны резче, чем планировала, звук переплёта о стол выходит громче, чем нужно в пустой сестринской. Она сидит секунду, слушая этот звук, будто проверяя, не ответит ли ей кто-то на него.

Никто не отвечает. В комнате только кружка Кирилла на краю стола, остывшая до конца, и запах кофе, уже выветривающийся из воздуха, смешанный с хлоркой из коридора.

* * *

Коридор неврологии тянется от сестринской до шестой палаты. Сегодня — счет сбился, не успев начаться.

Она прокручивает всё заново: паузу, в которой он пил кофе. Не глядя на неё, но и не отворачиваясь демонстративно. Просто пил, и в этом не было ни вызова, ни приглашения.

Есения ищет то, что обычно находила сразу, с первой фразы: лёгкий наклон головы, который означает «посмотри на меня», слишком долгий взгляд, который означает «я жду реакции», тон, становящийся мягче к концу предложения. У Марка молчание тоже было инструментом. Оно умело выжидать.

Сейчас — ничего. Ни одного маркера. Чисто.

Она останавливается у двери четвёртой палаты, не заходя, просто стоит, прижав папку к боку, и методично перебирает признаки заново. Взгляд прямой, но не задерживающийся. Пауза, не наполненная ожиданием, просто пауза, тишина без подтекста. Тон ровный до скуки, без модуляций, которые тянут за собой эмоцию у слушателя.

Это странно само по себе, потому что маркеры есть всегда, если искать достаточно внимательно. С Кириллом находила за первую неделю: лёгкая нервозность в голосе, слишком частые «вы заметили?», взгляд, ищущий одобрения. С Марком она находила их уже когда искать было поздно — задним числом.

Здесь — ничего. Как будто на снимке нет патологии, а она всё равно щурится в монитор, подозревая артефакт, брак плёнки, неправильную выдержку.

Норма без симптомов — тоже повод для дифференциальной диагностики, думает она, и мысль выходит ровной, почти уютной в своей холодности.

Она ловит себя на том, что уже пару минут стоит у чет-

вёртой палаты с папкой под мышкой и не заходит. Мысль о Яне не уходит, хотя повода нет: он ничего не сделал. Есть только факт: стоит, не заходит, думает.

Она гонит эту мысль в сторону, не додумывая её, откладывает на потом, как откладывают анализ, который нужно переделать.

И только тогда делает шаг. Шаги считаются почти автоматически, восемнадцать, девятнадцать, но она всё ещё держит в голове его лицо. Спокойное, без усилия выглядеть спокойным. У Марка в начале тоже было похожее лицо.

Данных недостаточно, говорит она себе. Мужчина, который говорит в пустоту, потому что не ждёт реакции, и от этого кажется значительнее, чем есть. Это не обаяние, это экономия усилий. Нужно больше наблюдений. Нужно видеть его в разных ситуациях, под разным давлением, в разной усталости.

Формула знакомая, привычная, Есения произносит её внутри себя почти с облегчением. Так учили на кафедре пропедевтики: один симптом не диагноз, один разговор не характер.

Она доходит до шестой палаты, останавливается перед дверью, выравнивает дыхание, прежде чем войти, привычный жест, отработанный годами, граница между коридором и постелью пациента, где нельзя приносить с собой посторонние мысли. Но мысль не уходит до конца, она просто отступает на шаг.

Толкает дверь и входит в палату с лицом, на котором нет ничего, кроме обычной рабочей сосредоточенности.

* * *

У поста раковина одна на всё отделение, вода идёт то ледяной, то обжигающей. Есения крутит смеситель, подставляет ладони под струю — холод, потом сразу кипяток, почти до красноты, — и в этот момент память срабатывает без спроса, как рефлекс на молоточек по колену.

Лавка у школы. Поздняя осень, холод через куртку, Марк сидел рядом, плечом к плечу, и молчал. Ей шестнадцать, она только что рассказала что-то длинное и путаное — про мать, про то, что опять не так сделала, про учительницу литературы, которая назвала её сочинение «странным». Он не перебивал. Не вставлял свои истории в ответ, не спешил с советом, просто слушал, и пауза после её слов тянулась дольше, чем положено.

Тогда это казалось редкостью. Мальчик, который не торопится говорить о себе. В посёлке все говорили о себе, перебивали, ждали своей очереди вставить реплику, — а он нет. Он смотрел на неё так, будто кроме её слов ничего не существовало.

Сейчас, годы спустя, формулировка другая, клиническая, без прикрас: редкий симптом принимается за норму, когда нет материала для сравнения. По одному случаю нельзя строить статистику. Но она строила. Весь подростковый возраст строится на единичных случаях, принятых за закон.

Вода жжёт сильнее, Есения не убирает руки, смотрит в раковину, где нержавейка покрыта мелкими царапинами от многолетней мойки инструментов, — и память идёт дальше, туда, куда не хочется.

Второй курс колледжа. Молчание, пауза, взгляд в упор. Только смысл другой. Она рассказывает про ссору, он молчит ровно столько, сколько надо, чтобы она начала договаривать то, что не планировала: детали, которые стыдно произносить вслух, то, чего боится, то, в чём не уверена. Молчание как воронка. Чем дольше тянется пауза, тем больше она выговаривает, пытаясь заполнить тишину, объяснить себя, оправдаться перед тем, кто ничего не требует вслух, но как будто ждёт.

Разница была. Только проявилась она не сразу, а через год, когда стало ясно, что всё, что она выговорила в паузах, он использовал. Не грубо, не напрямую. Аккуратно — как хирург работает с тканью, зная, где резать, чтобы не было сильного кровотечения. Знал её слабые места лучше, чем она сама, потому что сама же их и назвала вслух — в те долгие паузы, которые принимала за внимание.

У Марка в начале тоже не было симптомов. Молчание его выглядело точно так же, как сегодняшнее молчание Яна Викторовича. А дальше два случая разошлись так далеко, что сравнивать их бессмысленно, — но мозг сравнивает, потому что больше нечем, потому что выборка маленькая, а материал один и тот же: собственная память, которая не умеет быть

объективной свидетельницей.

Её задело не кружка, не шутка, не ровный тон без модуляций. Её задело то самое чистое, ровное, без усилия, которое она ищет в других и не умеет находить в себе. Теперь та же мысль разворачивается внутрь, как подкладка, — и внутренняя сторона оказывается шершавой.

Вода течёт уже откровенно кипятком, пар поднимается от раковины, и Есения наконец ощущает жжение по-настоящему, не фоном, а остро, как укол. Выключает кран резче, чем требуется: рычажок скрипит от рывка, капля срывается с носика и шлёпает в раковину одна, отдельно, с коротким звуком.

Руки красные. Она держит их под струёй воздуха из сушилки, смотрит, как кожа медленно возвращает себе нормальный цвет, и думает, что ожог первой степени проходит сам, без следа, без рубца. Хуже, когда не видно сразу, насколько глубоко. Хуже, когда кажется, что задета только верхняя кожа, а на деле поражение идёт дальше — и узнаёшь об этом только через несколько дней, когда появляется волдырь там, где его не ждали.

Она вытирает руки о полотенце, вывешенное у раковины, уже без нужды, чисто механически, и идёт дальше по коридору, считая шаги, хотя счёт сбивается на середине, и она не сразу замечает, что сбился.

* * *

Коридор неврологии сужается у поворота к лифтам —

здесь всегда теснее, каталки и капельницы на стойках занимают половину ширины. Есения идёт с папкой, прижатой к боку, к посту, когда из бокового прохода выезжает каталка. Ян Викторович везёт её сам, без санитара, спокойно толкает перед собой, глаза на пациенте: пожилой мужчина с кислородной маской, трубки, аппарат на подставке, который тихо пикает в такт.

Они пересекаются взглядом на секунду. Ровно на столько, сколько нужно, чтобы развести траектории движения, не столкнуться.

Она кивает коротко. Не останавливается, не замедляет шаг — наоборот, прибавляет, будто коридор вдруг стал длиннее, чем был вчера, и его нужно пройти быстрее обычного.

Ян не ищет её взгляда снова. Везёт каталку дальше, к лифту, кнопка нажата заранее, кто-то из санитаров придержал двери. Плечи ровные, темп тот же, что был до встречи. Ни паузы, ни поворота головы вслед.

Есения доходит до поста, как до спасательной лодки. Стоит, прижав папку к боку, и не идёт дальше. Это пауза не для передышки. Это чтобы проверить, не оборачивается ли она сама.

Не оборачивается.

Хорошо.

Дверь лифта закрывается где-то позади — гул, потом тишина коридора возвращается на место: тележка с лекарства-

ми скрипит колесом на стыке плитки, кто-то из третьей палаты зовёт сестру, голос глухой, через стену.

Она решает зайти к Нине Павловне, кладёт папку на тумбочку, проверяет капельницу: скорость нормальная, раствор на исходе, но ещё на полчасика хватит. Нина Павловна смотрит в окно, коса на плече, правая рука лежит поверх одеяла спокойно, левая вдоль тела — безучастная.

« — Что там», — говорит Нина Павловна, не поворачивая головы, — каталку гоняли.

— В реанимацию повезли. Не из нашего отделения.

— А доктор этот. Молчаливый.

Есения не отвечает сразу, поправляет край одеяла, который и так лежит ровно.

— Не знаю, о ком вы.

Нина Павловна хмыкает — звук выходит хриплым, но в нём слышно, что она не поверила ни единому слову. Больше не спрашивает. Отворачивается к окну, где за стеклом сентябрь треплет листья на клёне у входа в приёмный покой.

Есения выходит из палаты, прикрывает дверь, не до конца, на щель: так привычнее, так слышно, если позовут.

Она идёт дальше по коридору, а мысль рядом, без приглашения: он не остановился. Просто вёз каталку. Просто доехал до лифта. Просто уехал.

Факт. Не повод для облегчения, не повод для разочарования. Факт, который она фиксирует так же, как фиксирует показатели давления в карте: цифра есть цифра, она не спо-

рит с ней и не радуется ей.

Дистанция держится без усилий. Это редкость. С Марком было так с самого начала, хотя тогда она этого не называла дистанцией. Сейчас, задним числом, понятно: он держал паузу ровно настолько, насколько нужно было, чтобы она сократила расстояние сама, шагнула ему навстречу, выговорилась, открылась. Управление через отсутствие нажима — самое незаметное управление из всех.

С Яном дистанция не управляется. Она просто есть, с обеих сторон, одинаковая, без перетягивания в чью-то пользу.

Мысль доходит до этой точки и упирается, как в стену. Дальше думать не нужно. Дальше выводы, а для выводов недостаточно данных.

Она обрывает себя на середине шага, буквально: нога зависает на долю секунды дольше обычного, прежде чем опуститься на плитку. Считает шаги заново, с нуля, от двери шестой палаты. Один. Два. Три.

Коридор длинный, свет в нём ровный, больничный, без теней. Где-то впереди звенит тележка, медсестра из соседней смены катит бельё, кивает мельком, не останавливаясь. Есения отвечает тем же: коротким движением головы, без слов, без паузы.

Это она умеет делать хорошо. Всегда умела.

* * *

Комната на Рыленкова встречает запахом вчерашнего чая, который так и остался в чашке на подоконнике прокисшим

за день состояния, когда уже не пьют, а выливают. Есения снимает куртку, вешает на крючок у двери, не глядя. Следом — бейдж. «Филин Е. В.» ложится на тот же крючок, поверх куртки, лицом к стене. Так удобнее. Так к утру не нужно искать.

Чайник включается почти без звука — только слабый гул внутри, нарастающий. Она стоит у плиты, смотрит, как за окном маршрутка номер четыре тормозит на углу Фрунзе, скрипит так, будто решает, стоит ли вообще останавливаться. Решает. Останавливается. Кто-то выходит, хлопает дверью, идёт мимо, не поднимая головы от телефона.

Чай заваривается в одной и той же кружке — глубокой, купленной ещё на первом курсе колледжа, а уже четвёртый год университета, — пакетик чёрного, без сахара. Она садится к окну, подтягивает колени к груди, кружку держит двумя руками, не для тепла, просто так удобнее держать.

Снаружи темнеет быстро, по-осеннему, без перехода: было светло — и вот уже фонари. Маршрутка трогается с места, скрипит на повороте, уходит в сторону центра.

Мысль приходит не сразу. Сначала просто тишина комнаты. Потом фраза. Та самая, про кружку Кирилла. Она пересматривает интонацию заново, будто прокручивает запись. Не было желания, чтобы фраза запомнилась, чтобы её оценили. Просто сказал — и отставил кружку в сторону, как отставляют вещь, которая больше не нужна.

Чай остывает быстрее, чем она успевает заметить. Пар над

кружкой становится тоньше.

Стоп, — говорит она себе.

Как рефлекс коленного сустава под молоточком невролога. Удар, нога дёргается. Мысль о мужчине, который слушает дольше, чем нужно, — стоп. Сейчас команда звучит так же. Но нога не дёргается.

Есения смотрит на пар над чашкой, который почти исчез, и понимает это не сразу, а с запозданием в несколько секунд: мысль о Яне не ушла. Она осталась — не громкая, не настойчивая, просто фоном.

Это не обморок чувств и не сердцебиение — никакого ускоренного пульса. Раньше выключался. Всегда. С первого дня после Марка выключался мгновенно, щелчком, как лампа в коридоре отделения, когда дежурная медсестра идёт спать и гасит свет одним движением выключателя у двери.

Сейчас выключатель на месте, рука делает то же движение — а свет не гаснет.

Она сидит так минуту, может, две. За окном маршрутка снова тормозит на углу, теперь в другую сторону: кто-то садится, кто-то выходит, обычная жизнь города идёт мимо, равнодушная к тому, что происходит в одной отдельно взятой голове на четвёртом этаже.

«Норма без симптомов — тоже повод для диагностики», — вспоминает она собственную формулу. Тогда формула показалась достаточной. Сейчас она звучит слабее.

Есения забирает со стола учебник по неврологии, рас-

крывает на заложенной странице, строчки про афазию, про центр Брока, про то, как мозг теряет способность говорить, оставаясь при этом живым, думающим, всё понимающим. Текст идёт туго, глаза скользят по буквам, а мысль держит своё, не отпускает, остаётся на фоне, ровно, без нажима, так же, как он сам, не пытаясь ничего доказать, просто будучи там, где был.

Она закрывает учебник раньше, чем дочитывает абзац. Гасит свет в комнате, ложится, не раздеваясь полностью — просто в футболке, под плед, который давно пора постирать.

В темноте фраза про кружку всплывает снова, уже без усилия с её стороны. Она лежит, слушает, как во дворе хлопает подъездная дверь — кто-то вернулся домой, или кто-то ушёл, обычный вечер обычного города, и впервые за очень долгое время не находит способа заставить мысль замолчать до утра.

Глава 3. Слишком ровно

Бейдж на крючок, халат с вешалки — рукава ещё хранят запах порошка, не хлорки; порошок выветрится к обеду. Есения застёгивает пуговицы, привычно, без зеркала. «Филин Е. В.» висит ровно, буквы стёрлись на сгибе, где палец цепляет каждое утро.

Коридор встречает тем же — лампы дневного света, от которых лица у всех одинаково землистые к концу смены. Пол вымыт, ещё не высох до конца, у поста блестит влажная полоса.

Тётя Зина протирает тумбочку возле сестринского стола, тряпка скользит по одной и той же дуге третий раз. Кивает, не поднимая головы. Есения кивает в ответ. Ни слова. За три года — так всегда.

На посту Валерия что-то рассказывает двум медсёстрам из соседнего отделения — те зашли по пути, с чашками в руках. Голос идёт волнами: то тише, то взлетает на смешок, и все три смеются одновременно.

— …а он такой стоит, ресничками хлоп-хлоп, — Валерия взмахивает рукой, кольцо на пальце ловит свет, — и говорит: «Я не знал, что у вас тут так строго».

Смех. Короткий, привычный, без содержания — Есения проходит мимо, не вслушиваясь в продолжение. История про кого-то из приёмного покоя, или про ординатора, или

про того же ординатора неделю назад — какая разница. Такие истории не меняются от смены к смене, меняются только имена.

Она отмечает это мельком, обычное утро.

Тётя Зина протирает тумбочку. Валерия смеётся. Пол влажный у поста. Всё на своих местах, как будто кто-то расставил декорации по чек-листу, — и в этой точности есть что-то, что царапает изнутри, хотя назвать это нечем.

Так бывает перед тем, как начинается приступ, думает Есения. Пациент лежит тихо, показатели в норме, дыхание ровное — и именно эта ровность настораживает. Тишина перед тем, как мозг решает, что пора дать сбой.

Она тут же одёргивает себя: это паранойя, а не клиника. Утро как утро. Просто она плохо спала.

Валерия ловит её взгляд через плечо одной из медсестёр, улыбка не меняется, но что-то в глазах делает короткую паузу: оценивает, прежде чем вернуться к рассказу. Проходит к столу, берёт верхнюю карту из стопки.

— Доброе, — говорит тётя Зина, не глядя, всё ещё с тряпкой в руке.

— Доброе.

— Ночь тихая была. Никого не привезли, — тётя Зина выжимает тряпку над ведром, звук воды короткий, хлёсткий. — Четвёртая палата шумела под утро. Мычал. Но это не ко мне, это к вам.

Есения кивает, листает карты — имена, диагнозы, назна-

чения, всё знакомое, всё читается само. Ни одной новой записи за ночь, ни одного тревожного маркера. Отделение спало спокойно, как и должно было.

«Норма без симптомов, — думает она, — это повод для диагностики. Молчание — это тоже симптом, просто его труднее прочитать».

Она не знает, к чему относит эту мысль — к отделению, к сегодняшнему утру, к себе самой.

Валерия за спиной снова взрывается смехом, и смех этот не меняет своей тональности, не становится ни громче, ни тише — ровно настолько, насколько должен быть смех медсестры, которой скучно и у которой есть слушатели.

Есения берёт верхнюю карту, идёт к четвёртой палате. Шаги — она не считает их сегодня, замечает это только на середине пути, и возвращаться к подсчёту уже поздно.

* * *

Четвёртая палата встречает запахом хлорки. Три койки, две молчат, третья у окна гудит.

Пациент мычит, едва Есения переступает порог. Звук идёт низко, из груди, срывается в хрип на выдохе. Здоровая рука взлетает над одеялом, тычет куда-то в сторону тумбочки, пальцы раскрыты, дрожат от усилия.

— Сейчас, — говорит Есения, ставит карту на край койки.

Лицо у него перекошено, правая половина тяжелее левой, будто воск оплыл не до конца. Глаза — живые, злые, мечутся между её лицом и тумбочкой. Он снова мычит, громче, рука

бьёт по воздуху.

На тумбочке — стакан с водой, упаковка влажных салфеток, очки в потёртом чехле. Есения берёт очки.

Мычание обрывается на середине.

Она раскрывает чехол, протирает стёкла полой халата — и подаёт. Он хватает очки здоровой рукой почти грубо, цепляет дужку за левое ухо; за правое — она помогает сама, пальцы находят изгиб хряща, заводят дужку аккуратно, чтобы не задеть опущенный угол рта.

Лицо расслабляется. Не до конца — правая сторона так и остаётся тяжёлой, — но плечи опускаются, дыхание выравнивается на полтона.

« — Так лучше», — говорит она, не спрашивая.

Он кивает. Один раз, коротко, будто кивок тоже стоит ему усилия.

Есения достаёт тонометр, обматывает манжету вокруг левого предплечья — правое трогать не любит ни он, ни она, — качает грушу, слушает шипение воздуха, смотрит на стрелку. Сто тридцать на восемьдесят. В пределах. Пульс семьдесят восемь, ровный.

Записывает цифры в карту аккуратным убористым почерком. Дата, время, показатели. Строка под строкой — такая же, как вчера, как позавчера. Рутина, в которой нет места ни для сочувствия, ни для раздражения, только для точности.

Он смотрит на неё из-за очков, и во взгляде — всё та же злость. Пятые сутки без речи. Центр Брока молчит, или Вер-

нике — она ещё не видела снимок, но разница между ними сейчас не имеет значения: у человека отняли способ сказать, что ему нужно.

Это лишение, думает Есения, закрывая карту. Не выбор. Его забрали силой — инсультом, тромбом где-то в сосуде. Он этого не выбирал.

Её молчание — другое. Её никто не лишал голоса. Она сама решила не тратить его на тех, кто не расслышит.

Пациент снова мычит, тише — не требование, скорее констатация. Указывает подбородком на стакан с водой. Она подаёт, придерживает дно, пока он пьёт через соломинку здоровым углом рта; вода течёт тонкой струйкой по подбородку, она промакивает салфеткой.

— Хорошо, — говорит, забирает стакан, ставит на тумбочку. — Отдыхайте.

Он не отвечает — да и нечем. Смотрит в окно, где клён у приёмного покоя роняет жёлтые листья, и в этом взгляде — не покой, а что-то вроде паузы перед следующим приступом злости.

Есения выходит в коридор, прикрывает дверь палаты без стука, карта под мышкой.

Смех долетает раньше, чем она успевает сделать шаг. Громкий, рассчитанный на то, чтобы его услышали.

Слишком громко для утра, думает Есения. Для часа, когда пациенты ещё спят после завтрака, а медсёстры должны разговаривать вполголоса, потому что звук разносится по ка-

фельным стенам, как по барабану.

Она останавливается на пороге, не решив ещё, стоит ли идти в ту сторону или свернуть к посту с другого конца коридора.

* * *

Валерия стоит у поста, облокотившись на стойку так, чтобы халат лёг красиво на бедро. Голос у неё сейчас на полтона выше обычного.

— …а он мне: «Валера, ты не представляешь». Я говорю: Валера — это ты меня так называешь, что ли? — Она смеётся первой, раньше, чем успевает договорить, и бросает взгляд мимо собеседника — в сторону, вдоль коридора.

Есения у двери палаты, карта под мышкой. Коридор пуст, если не считать двоих у окна напротив поста: Кирилл в выглаженном халате, и Ян Викторович — дальше, у каталки, с чьей-то историей болезни в руках, почти у поворота к лифтам.

Больше никого. Ни медсестёр со вчерашнего смеха, ни санитарок, ни тёти Зины с её тряпкой. Только эти двое и Валерия, которая говорит так, будто вокруг собралась палата слушателей.

Есения не может понять, кому это адресовано. Кирилл стоит слишком близко к посту, подаётся вперёд всем телом. Ян Викторович — дальше, не поворачивает голову, движется своим шагом, ровным, неспешным.

Спектакль без адресата раздражает больше, чем с адреса-

том.

— …а я ему: ну подожди, подожди, — Валерия взмахивает рукой, кольцо на пальце ловит свет лампы над постом, — я же не железная.

Кирилл смеётся. Громко, с запрокинутой головой, так что видно кадык и ровные молодые зубы. Смех длиннее, чем шутка заслуживает — рядовая байка про капризного пациента из реанимации.

Это нормально для него, напоминает себе Есения. Кирилл так реагирует на всё с тех пор, как перешёл в отделение: громко, щедро, авансом. Как будто пытается занять место, которое ему никто не предлагал.

Ян проходит мимо поста, не сбавляя шаг. История болезни у него в руках, взгляд — в документ, потом на дверь реанимационного блока. Он не поворачивает голову в сторону Валерии, не меняет темп, будто там, у стойки, вообще ничего не происходит.

Валерия провожает его взглядом на долю секунды дольше, чем требуется, чтобы просто отметить проход коллеги. Этого достаточно, чтобы зацепить.

Есения заставляет себя не делать выводов. Нет данных, думает она. Один взгляд — не симптом. Один взгляд может означать что угодно: усталость, скуку, случайную траекторию зрачка.

У всех всё ровно: Валерия смеётся, Кирилл хохочет, Ян Викторович идёт по своим делам. «Ровно настолько, что хо-

чется проверить пульс у каждого из них отдельно — Девочки, да ладно вам», — говорит одна из медсестёр за стойкой, хотя никто её не спрашивал, просто вставляет реплику, чтобы быть частью разговора.

Валерия не отвечает ей, она смотрит в сторону, туда, где скрылся Ян за поворотом к лифтам. Пауза держится ровно столько, сколько нужно, чтобы кто-то успел заметить этот взгляд — и сам додумал остальное.

Есения стоит у дверей палаты ещё секунду, не решаясь двинуться. Внутри — то же ощущение, что бывает при чтении чужой истории болезни, где цифры в норме, а общая картина пациента почему-то не вызывает доверия. Анализы хорошие. Температура нормальная. А что-то всё равно не так.

Она отталкивается от косяка, идёт к посту за следующей картой, мимо Кирилла, который уже разворачивается к ней всем корпусом, будто ждал именно этого момента весь разговор.

* * *

Кирилл нагоняет её у стойки, три быстрых шага — будто боится, что дверь закроется.

— Филин, а ты сегодня сутки или до восьми?

Голос слишком лёгкий для вопроса, который можно было задать на пятиминутке, прочитать в графике, спросить у Зины. «Р» у него мягкое, горловое, почти детское.

— До восьми.

Есения не останавливается. Карта открыта на нужной странице, ручка выводит цифры давления, пульс, назначения на вечер — почерк убористый, без завитков, экономит время. Она пишет на ходу, придерживая папку локтем.

— А то в реанимации сегодня движуха, слышала? Привезли двоих.

— Слышала.

Она не слышала. Но ответ закрывает тему быстрее, чем уточнение.

Полгода назад, когда он только перевёлся, подходил иначе. Реже. Осторожнее. Стоял у поста, спрашивал что-то по делу — и уходил, не задерживаясь взглядом дольше секунды.

Сейчас расстояние между ними меньше, чем требуется для разговора о сменах. Он стоит почти вплотную к стойке, с той стороны, где обычно никто не стоит, потому что оттуда неудобно смотреть в карту — зато удобно смотреть на неё.

— Слушай, а ты не хочешь… — начинает он и сам обрывает себя, будто спохватившись, что слишком быстро.

« — Мне надо закончить обход», — говорит Есения, не поднимая головы.

Внутри нет тревоги. Тревогу она бы распознала сразу, по учащённому пульсу, по сухости во рту. Здесь другое: кто-то уже третий месяц подряд стучится в одну и ту же дверь, и дверь не открывается, а он продолжает стучать, будто надеется, что замок однажды сломается сам.

« — Да я понимаю», — говорит Кирилл, и голос чуть са-

дится, теряет громкость. — Просто подумал, может, после смены…

— После смены я домой, — отвечает она ровно — не отказ, а как констатацию факта, список назначений, который не обсуждается.

Он смотрит в сторону — на секунду, на окно в конце коридора, где осеннее солнце бьёт плоско и неярко. Плечи чуть опускаются, брови сходятся, но не зло, скорее растерянно — как у ребёнка, которому не дали добавки за ужином, хотя просил вежливо. Обида в нём живёт недолго, но проявляется сразу, на лице, без фильтра; он не умеет её прятать — как не умеет прятать ничего.

— Ладно, — говорит он, снова пытаясь вернуть голосу лёгкость, хотя получается хуже прежнего. — Тогда до вечера.

Есения не отвечает. Дописывает последнюю строку, захлопывает папку, идёт к пятой палате.

Она не оборачивается, чтобы проверить, смотрит ли он вслед, но знает, что смотрит. Это тоже стало частью обихода за последние месяцы: его взгляд в спину, долгий, немного потерянный.

Нет угрозы, нет манипуляции. Просто мальчишка, который хочет, чтобы его заметили, и выбрал для этого не ту дверь. Есения не испытывает к нему ни жалости, ни раздражения в полную силу — только это ровное, придонное утомление, как от процедуры, которую нужно делать каждый

день, хотя толку от неё давно нет.

Она толкает дверь пятой палаты плечом, придерживая карту. За спиной слышит, как Кирилл тяжело выдыхает и уходит в другую сторону — шаги быстрые, чуть сбившиеся, совсем не такие уверенные, как десять секунд назад.

* * *

На посту Есения дописывает карты — четвёртая, шестая, девятая. Почерк мелкий, экономный — чтобы не тратить лишнюю строку на то, что умещается в одну.

Валерия стоит у шкафа с бланками, вполоборота к другой медсестре, голос у неё поставлен на нужную громкость — не крик, но так, чтобы разошлось по коридору само, без усилий с её стороны.

— …а я говорю, зачем свою терять, если можно одолжить? — и смех, короткий, отработанный.

Есения дописывает дозировку, не поднимая головы. Слова идут фоном, как капельница в соседней палате — ровный звук, который перестаёшь замечать через минуту.

— Да нормальный он, — продолжает Валерия, и голос у неё чуть меняется, становится мягче.

— Мой бывший тоже тихий был. Молчал, молчал… а потом как дал. Тихие — они самые…

Есения не поворачивает головы. Рука продолжает движение по строке, буквы выходят такими же ровными, как минуту назад. Но внутри что-то коротко бьёт — не в грудь, ниже, под рёбра, туда, где раньше отзывался голос Марка, ко-

гда он говорил что-то вскользь, будто не для неё.

Диагностика требует данных, а данных нет — только слово, брошенное в воздух, и реакция тела, которую саму по себе фактом не считают. Боль есть, причина не локализована. Так пишут в карте, когда жалуется пациент, а снимок чист: субъективно — да, объективно — нет оснований.

— Ты закончила? — спрашивает вторая медсестра, и Валерия отвечает что-то длинное, уже не про анестезиолога, про дежурство в выходные; голос снова набирает прежнюю высоту, будто ничего и не было.

Есения переворачивает лист. Почерк не дрогнул — она проверяет это машинально, как проверяют пульс по счёту: ровно, без сбоев. Хорошо.

Тётя Зина подходит со стороны поста, без звука, если не считать мягкого скрипа тапок по линолеуму. Ставит перед Есенией стакан в подстаканнике — чай, тёмный, без сахара, именно так, как она пьёт, хотя никто не спрашивал. Не говорит ни слова. Разворачивается, идёт дальше, к бельевой.

Есения смотрит на стакан секунду дольше, чем нужно. Пар поднимается тонкой нитью, тает в метре от чашки.

Спасибо, думает она, но вслух не произносит.

Валерия где-то позади продолжает разговор, уже про другое, смех опять взлетает и падает. Есения не оборачивается.

И на секунду её нет: ни поста, ни карт, ни Валерии за спиной. Только кухня и тишина, которая тогда казалась покоем. Секунда проходит. Пост возвращается. Есения дописывает

последнюю цифру в карте, закрывает её, кладёт в стопку для девятой палаты.

Чай остывает медленнее, чем она успевает об этом подумать. Она делает глоток — горький, без сахара, привычный, — и идёт дальше по маршруту, который знает наизусть, тридцать семь шагов до шестой палаты, хотя сегодня, кажется, сбивается на тридцать пятом.

* * *

Окно в коридоре между шестой и седьмой палатой — старое, рама крашена слоями, последний слой уже лупится по углам. За стеклом двор больницы, клён у приёмного покоя наполовину жёлтый. Есения стоит, прижавшись плечом к батарее, которая ещё холодная, и держит стакан двумя руками, хотя чай давно перестал греть ладони.

Перерыв между палатами — семь минут, может десять, пока не позовут в девятую.

Утро проигрывается заново, по кадрам, без её участия. Пост ровный, тётя Зина, ночь прошла тихо, никого не привезли. Валерия — громче обычного, но на ту же меру, на какую всегда громче по средам. Кирилл навязчив — так же, как последние три месяца, ни на градус больше. Ян Викторович прошёл мимо с историей болезни в руках — не посмотрел, не замедлил шаг.

Слишком много ровного на одно утро.

В медицине так не бывает. Если все показатели в норме одновременно — это повод переделать анализ, а не радо-

ваться. Слишком идеальная картина чаще значит, что где-то ошибка в заборе крови, а не что пациент здоров.

Она делает глоток, чай горчит сильнее, чем должен — должно быть, настоялся, пока стоял на столе.

Такое уже было. За месяц до того, как Марк впервые исчез на три дня без звонка, ничего не предвещало. Наоборот: он стал мягче, внимательнее, приносил чай после пар в колледже, спрашивал про лекции так, будто правда интересно. А потом три дня без связи, а следом объяснение, что был занят, что не хотел её беспокоить проблемами, которые её не касаются.

Беспокоиться раньше времени — это невроз. Так написано в учебнике, так говорила мать, когда Есения в детстве боялась грозы без единой тучи на горизонте.

Сходство формы не означает сходство диагноза. Два разных заболевания могут давать одну и ту же сыпь. Корь и краснуха на вид почти не отличимы без анализа крови, а лечение разное, и прогноз разный, и опасность разная. Внешнее совпадение ничего не доказывает.

Тишина Яна Викторовича сегодня — такая же, как всегда. Кирилл — наоборот, растёт неделя за неделей, но это другой узор, не похожий на затишье перед Марком, это скорее лёгкое воспаление, которое само себя обозначает, без маскировки. Валерия — вообще другая категория, тут дело не в ней, не в Яне, дело в самой Валерии, хотя этого вывода тоже пока рано касаться.

Три разных картины. Она пытается уложить их рядом, как три снимка на негатоскопе, и не находит общей тени.

И всё равно внутри что-то не отпускает. Не мысль — скорее фон, низкий гул, какой бывает от работающего холодильника в соседней комнате: не слышишь, пока не выключат, и тогда вдруг понимаешь, что он был всё время.

Она допивает чай. На дне — осадок, мелкая чаинка прилипла к стенке стакана.

Недостаточно данных. Но раньше формулировка работала, успокаивала, давала разрешение не думать дальше. Сейчас она произносит её и слышит, что звучит иначе — не как вывод, а как отсрочка.

В девятой палате зовут медсестру, слышно через приоткрытую дверь. Пора.

Есения ставит стакан на подоконник — заберёт после обхода, — и берёт карту, которую держала под мышкой. Открывает, пролистывает лист назначений, хотя помнит его наизусть: закрывает скорее по привычке, чем по надобности, как закрывают историю болезни перед тем, как перейти к следующей койке, не потому что дочитана, а потому что время идёт дальше.

Подозрение не исчезает. Оно просто перестаёт быть отдельным, срастается с остальными — с тем, что носит пять лет, с привычкой проверять дважды, с правилом не верить ровному слишком быстро. Становится ещё одной записью в длинном анамнезе, который она ведёт на саму себя: без да-

ты, без подписи врача, без прогноза.

Она идёт по коридору, считает шаги до девятой. На этот раз сбивается на двадцать третьем — впрочем, какая разница, если дверь всё равно там, где была вчера.

Глава 4. Без протокола

Девятая палата сдана. Последняя графа в карте закрыта: сто двадцать на восемьдесят, пульс семьдесят два — в пределах нормы, без динамики. Есения ставит точку, не галочку — точку, так приучила её ещё в колледже старшая по практике: галочка значит «сделала», точка значит «проверила».

Пост пуст. Валерия и вторая медсестра Алина ушли переодеваться, голоса доносятся из подсобки — там же, где всегда, ни о чём. Есения складывает карты стопкой, ровняет углы.

Тётя Зина появляется бесшумно, как появляется всегда — не из двери, будто из стены. Ставит перед Есенией стакан. Второй за смену. Чай тёмный, без сахара, нужная температура, чтобы пить сразу.

« — Я уже пила», — говорит Есения.

— Это не тот. Это — про запас.

Тётя Зина уже разворачивается, тряпка в руке, идёт к четвёртой палате, откуда снова слышно низкое мычание — пациент требует что-то, не умея сказать, что. Зина не оборачивается, не ждёт благодарности.

Есения смотрит на бейдж на груди. «Филин Е. В.» Среда. Смена закончена. Через сорок минут за окном стемнеет полностью. Повод исчез. Карты сданы, назначения выполнены, отчёт передан, следующая смена заступит через полчаса.

Можно идти в гардероб, переодеться, выйти через служебный, и всё.

Она не идёт.

Стоит у поста ещё минуту, ещё две, листает верхнюю карту, которую уже закрыла, — незачем, просто руки заняты, пока голова решает без неё.

Шестая палата всплывает не как мысль, а как картинка: койка у окна, занавеска в мелкий цветочек, застиранная до белизны. Нина Павловна лежит обычно на боку, лицом к свету, даже когда свет серый, как сегодня. Вчера сказала три слова за весь обход. Сегодня, может, скажет четыре.

Формулировки нет. Решение случается раньше слов, как бывает иногда с диагнозом — глаз видит прежде, чем голова называет.

Третий стакан она берёт сама, с подноса у поста, наливает из того же чайника, что и тётя Зина, без сахара. Несёт в сторону шестой палаты, не к выходу, к лестнице, к дому.

Ноги идут туда, где свет из палаты падает косой полосой на линолеум, и тень от каталки у стены ложится ровно под углом, в котором, кажется, нет ничего особенного, кроме того, что сегодня она его замечает.

Дверь шестой палаты приоткрыта, как всегда. Запаха лекарств здесь чуть меньше, чем в остальных.

Есения останавливается у порога, не входя, стакан в руке ещё тёплый. Внутри — тихо. Не тревожно тихо.

Она делает шаг внутрь.

* * *

В четверг в больнице пахнет не хлоркой, а столовой.

Столовая встречает тем же, что и всегда: лязг алюминиевых подносов по направляющим, крик раздатчицы «следующий», запах пережаренного масла, перебиваемый кислой сладостью компота из сухофруктов. Тётя Валя у кассы пробивает чеки механически, не глядя. Кто-то смеётся за соседним столом — громко, не по делу, просто потому что устал.

Есения берёт поднос: гречку с котлетой, компот в гранёном стакане. Идёт к дальнему столу у окна, туда, где батарея парового отопления гудит ровно и мешает разговаривать, если кто-то вдруг решит подсесть. За этим столом никто не подсаживается уже давно. Привычка укоренилась, как шрам: не объяснять, не оправдываться, просто сесть одной.

Она ест, глядя в окно на парковку, где «скорая» стоит с открытыми дверями, а фельдшер курит, прислонившись к капоту.

Поднос опускается напротив — без звука почти, аккуратно, будто ставят не еду, а инструмент на стерильный стол. Ян Викторович садится. Не спрашивает «можно». Не смотрит, свободно ли место, — видно же, что свободно, весь зал полупустой. Просто садится и придвигает к себе тарелку с рыбой и пюре.

Есения на секунду замирает с ложкой на полпути ко рту. Ждёт. Сейчас будет реплика — что-то вроде «не помешаю?», или шутка про гречку, или взгляд, который требует ответно-

го взгляда. Марк всегда так начинал: с пустяка, с погоды, — а потом вопрос заворачивался, как шуруп, всё глубже, пока не упирался в то, что ей не хотелось говорить.

Ничего не происходит.

Ян режет рыбу вилкой, аккуратно, без ножа — нож почему-то не дали сегодня, как всегда, экономят. Ест молча, глядя в тарелку, иногда — в окно, туда же, куда она сама только что смотрела. Фельдшер снаружи тушит сигарету о край урны.

Проходит минута. Полторы. Ложка её снова движется — гречка, компот, гречка. Молчание не давит. Будто он сел напротив тумбочки, а не человека.

« — Компот опять без сахара», — говорит она наконец, не потому что хочет разговора, а потому что тишина слишком долго не получает подтверждения, что она именно тишина, а не неловкость.

— Заметно, — отвечает Ян Викторович, не поднимая глаз от тарелки. — Который день подряд.

— Экономят?

— Или забыли завезти.

Он отпивает компот из своего стакана, морщится едва заметно — не гримаса, просто мышца дёрнулась у рта, — и возвращается к рыбе.

Есения доедает гречку, глядя то на него, то в окно. Фельдшер садится обратно в кабину, захлопывает дверь. «Скорая» трогается с места без сирены — значит, не экстренный вы-

зов, просто перевозка.

Она ждёт раздражения. Оно должно появиться — вот сейчас, вот через секунду: кто-то вторгся в её территорию, сел за стол, который был её по негласному праву год молчаливого одиночества, и даже не спросил разрешения.

Раздражения нет.

Она сидит и пьёт компот, и в теле — ровно, как будто кардиограмма без скачков, без аритмии. Ян Викторович молчит так, что молчание не требует её участия. Не ждёт, что она его заполнит. Не проверяет, смотрит ли она на него. Просто ест, думает о чём-то своём — может, о пациенте в реанимации, может, ни о чём, — и это присутствие не давит, не тянет к себе внимание, как магнит тянет стружку.

Именно это и настораживает. Не поведение, а его отсутствие, которое можно было бы классифицировать. Нет подвоха, который она ищет на автомате. Нет попытки понравиться.

Норма в кардиограмме — хороший знак. В человеке, который садится напротив без причины и ест молча, норма читается иначе. Как симптом без диагноза. Как то, для чего пока нет данных, но есть ощущение, что данные появятся, и тогда придётся что-то с этим делать.

Ян доедает рыбу, отодвигает тарелку на сантиметр, не больше, аккуратно, будто заученным движением. Встаёт, берёт поднос.

« — Приятного аппетита», — говорит, уже вставая, без

всякой иронии в голосе.

И уходит к окошку для грязной посуды, не оборачиваясь.

Есения сидит ещё минуту, глядя в опустевшую половину стола, напротив. Компот в стакане на дне — мутная жижа из распаренных яблок и груш. Батарея гудит так же ровно, как и десять минут назад. Ничего не изменилось в столовой.

Изменилось то, что она сидела за одним столом с человеком почти пятнадцать минут — и не считала шаги до выхода.

* * *

Шестая палата встречает серым светом из окна — вечер плоский, без теней, без контраста, будто кто-то выключил резкость. Пахнет хлоркой и чем-то сладким, цветочным. Нина Павловна у окна, под светлым одеялом, лицо повёрнуто к стеклу.

Дверь скрипит привычно, на одной ноте. Есения заходит, и голова у окна не поворачивается. Узнаёт по шагам — не по голосу, не по стуку каблуков, которых всё равно нет, обувь на бесшумной подошве. Просто знает ритм.

— Опять без протокола, — голос хриплый, будто через вату, но слова выходят ровно, без запинки.

Есения ставит стакан чая на тумбочку, рядом с нетронутым компотом в стеклянной банке — его приносят на ужин, он всегда остывает нетронутым. Садится на стул без спинки, тот самый, что держат в палатах для родственников, которых почти никогда не бывает. Садится не как медсестра садится к пациенту — без карты в руке, без фразы «как самочув-

ствие». Просто садится.

Молчит.

Нина Павловна наконец поворачивает голову — медленно, с усилием, которое после инсульта требуется для любого движения шеи. Смотрит на неё, не на чай. В глазах — что-то вроде усмешки, но на губах её нет, они остаются прямой линией, бесцветной, сухой.

— Без карты пришла, — констатирует она. — Без бумажки своей.

— Смена кончилась.

— А ты всё равно здесь.

Есения не отвечает. Смотрит не в глаза — чуть ниже, на руку поверх одеяла. Левую. Та лежит неподвижно, пальцы чуть скрючены, кожа тонкая, с пигментными пятнами, вены проступают синим, будто нарисованные тушью. Правая рука живая, иногда шевелится, теребит край одеяла. Левая — нет. Инсульт забрал её себе и не отдал, и сколько ни разрабатывай, сколько ни гнуть пальцы через боль на занятиях с методистом, рубец на мозге не рассосётся, не сотрётся, он есть и будет.

Смотреть на эту руку почему-то проще, чем на лицо.

Тишина в палате густеет, но не давит. За окном, кто-то заводит машину, мотор чихает дважды и глохнет, потом всё-таки заводится. В коридоре звучат шаги, удаляются, пропадают.

По этикету визита — если бы это был визит, — здесь по-

лагалось бы что-то сказать. Спросить про сон, про аппетит.

Пауза идёт дальше минуты. Дальше двух. Никто не торопится её закрывать.

Нина Павловна снова отворачивается к окну, туда, где за серым стеклом двор больницы. Голос звучит глухо, будто уже не к Есении обращён, а к себе.

— Хороший чай у тебя, — произносит она, хотя не притронулась к стакану. — Горячий ещё?

— Да.

— Не пей остывший. Горячий лучше.

Есения берёт стакан, подносит ближе к её руке — правой, рабочей. Нина Павловна не тянется за ним сразу, просто смотрит, как пар поднимается над чаем узкой струйкой и тает, не долетев до её лица.

« — Не хочу пока», — говорит она. — Постоит.

Ставит стакан обратно на тумбочку.

Молчание возвращается, но уже другое — не пустое, а плотное, как будто в нём есть вес, который обе чувствуют и не называют. Есения смотрит на неподвижную руку поверх одеяла и думает о том, что рубец — он не всегда заметен снаружи. Иногда он внутри, под кожей, под мышцами, под тем, что человек показывает окну, соседке по палате, медсестре с чаем. Иногда рубец такой, что его можно разглядеть только по тому, как рука отказывается двигаться там, где раньше двигалась свободно.

За стеной, в коридоре, кто-то катит каталку, на одном из

поворотов скрип. Звук удаляется в сторону процедурного.

Нина Павловна не произносит больше ни слова. Смотрит в окно. Есения сидит рядом, не как на дежурстве, без карты, без цифр, без привычной дистанции между постелью и постом, и впервые за этот вечер ей не хочется считать шаги до выхода.

* * *

Нина Павловна дышит с паузой между вдохом и словом — будто откладывает воздух на потом, зная, что потратит его не сразу.

« — Муж умер», — говорит она. — Я не плакала.

Голос ровный, без надрыва, как будто читает строку из выписки.

— Считала: это сила.

Есения кивает, хотя кивок никому не адресован: спина Нины Павловны по-прежнему к ней, лицо — к окну. Привычка срабатывает раньше мысли: интонация ровная — значит, можно не вмешиваться. Есения ловит себя на этом подсчёте и отпускает его. Это не анамнез. Это не история болезни. Это — просто то, что человек решил сказать вслух, медсестре без карты в руках.

— Дети звонят редко, — продолжает Нина Павловна. Пауза перед словом «редко» длиннее, чем требуется для дыхания. — Я сама их отучила просить.

Есения молчит. В груди что-то смещается, резко. Здесь удар, глубже, без возможности назвать его чужим. «Я сама

их отучила просить» — фраза ложится не на историю этой женщины, а куда-то в сторону, в собственную грудную клетку, туда, где давно не трогали.

Она смотрит на неподвижную руку — смотреть на лицо труднее. Рука не реагирует ни на что из сказанного: ей и не нужно, она давно вне разговора, инсульт забрал у неё право голоса раньше, чем у хозяйки. А вот правая чуть шевелится, теребит край одеяла, будто ищет, за что ухватиться, не находит и останавливается.

« — Дело не в просьбе», — говорит Нина Павловна, не оборачиваясь. Голос садится ещё ниже, почти до шёпота, экономит то немногое, что осталось. — Это ответ трудный. Когда просишь — ждёшь. А ждать — это слабость. Так думала я.

За стеной снова катится каталка, на этот раз без скрипа, ровно, удаляется в сторону лифта.

Нина Павловна поворачивает голову. Медленно, с усилием, которое заметно по тому, как напрягается шея, как на секунду сбивается дыхание. Поворачивает ровно настолько, чтобы увидеть Есению, не больше. Глаза светлые, выцветшие, без упрёка — с одной только констатацией.

« — Ты тоже так думаешь», — говорит она. — Я вижу.

Не вопрос. Факт.

Есения не отвечает. Не кивает и не качает головой. В горле что-то стоит, плотное, не слёзы, скорее их возможность, придержанная усилием, которое уже требует сил, как будто

тело решило экономить так же, как Нина Павловна экономит дыхание.

Молчание возвращается в палату, но уже не то, что было до слов про мужа. То было тихим ожиданием. Это — полным чем-то, у чего нет имени. Можно записать в карте: контакт продуктивный, эмоциональный фон ровный. Можно даже почти в это поверить.

Чай на тумбочке остывает, пар над ним больше не поднимается, никто из них не притронулся к стакану за весь разговор.

Нина Павловна отворачивается к окну, медленно, как и поворачивалась, экономя то немногое движение, что ей осталось в этом теле. Больше не говорит ничего.

Есения встаёт со стула без спинки. Ноги затекли, она не заметила, как. Забирает нетронутый стакан, он был поводом зайти, а не целью визита.

У двери оборачивается — коротко, не для прощания, просто чтобы проверить картинку напоследок: седой затылок на подушке, профиль к окну, правая рука на одеяле, левая рядом, неподвижная, чужая самой себе.

Нина Павловна не оборачивается вслед. Этого и не нужно.

Есения выходит в коридор, закрывает дверь тихо, без щелчка, и несёт в себе то, что осталось от этих слов, зная заранее — это не уйдёт со сменой, не сотрётся к завтрашнему дежурству, не ляжет аккуратной строкой в карту. Это останется там, куда не достаёт ни один протокол.

* * *

Остановка у больницы пустая, если не считать женщину с пакетами у соседнего столба. Сентябрь пахнет мокрым асфальтом, будто минуту назад прошёл дождь, хотя дождя не было с обеда. Палая листва лежит у бордюра мокрыми слипшимися кучками — тополь роняет её раньше всех, каждый год.

Троллейбус заходит на поворот с улицы Грибоедова, скрипит там, где рельсы давно стёрли резину на колесе; этот звук Есения узнаёт за квартал, раньше, чем видит номер маршрута.

Она считает шаги от крыльца приёмного до столба с расписанием — привычка, старше, чем работа здесь. Сегодня опять сбивается, у трещины в асфальте, которую не замечала полгода, а теперь замечает второй раз за день. Может, трещина новая. Может, просто считает хуже, чем думает о себе.

Автобус не приходит ещё минут пять. Есения стоит, сунув руки в карманы куртки, и от нечего делать перебирает день — не специально, просто мысли идут туда, куда идут, когда тело занято ожиданием, а не делом.

Столовая. Ян ставит поднос напротив, без слова, без вопроса. В тот момент должно было что-то сработать: подвинуться, отстраниться взглядом, ответить односложно так, чтобы стало понятно — не сюда, не ко мне. С Кириллом срабатывает каждый раз, автоматически, как рефлекс на коленный молоточек. А тут — ничего.

Потом шестая палата. Нина Павловна и её муж, который умер, и дети, которые звонят редко, потому что их отучили просить. Есения помнит, как слушала это — не как медсестра слушает анамнез, выжидая паузу для реплики про давление. Слушала просто так. И в тот момент тоже должно было что-то включиться: дистанция, протокольная вежливость, уход в роль. Не включилось.

Она ищет сейчас, на остановке, тот момент за весь день, где броня должна была встать на место — и не находит.

Щита не было весь день. Не сломан, не снят специально — просто не вставал, как будто забыла надеть, как иногда забывает очки, уходя из дома, и полдня щурится, не понимая почему буквы расплываются.

Троллейбус подъезжает, двери открываются с шипением воздуха, выходит парень с велосипедом, протискивая переднее колесо через узкий проём. Есения заходит, прикладывает карту к валидатору, садится у окна в середине салона — там, где меньше трясёт на колдобинах.

За стеклом темнеет быстрее, чем час назад, сентябрь укорачивает вечер на глазах, будто кто-то двигает стрелки ускоренно, без предупреждения. Огни вдоль улицы Николаева зажигаются вразнобой — один фонарь горит, следующий мигает, третий не горит вовсе. В стекле её лицо проступает поверх этой картины, полупрозрачное, наложенное на витрины и фары встречных машин — глаза, нос, линия подбородка вперемешку с жёлтым светом окон аптеки и красным

сигналом светофора на перекрёстке.

Она смотрит на это отражение дольше, чем обычно смотрит на себя хоть где-то. Не ищет изъян, не поправляет прядь, которая выбилась из-за уха. Просто смотрит, как смотрела бы на чужую карту, не свою: вот данные, вот картина за сутки, вот отсутствие ожидаемого симптома.

Отражение не говорит ей ничего нового, кроме одного — щит стоял так долго, что стал казаться частью тела, а оказалось, снимается. Просто сегодня не понадобился.

Троллейбус сворачивает на мост, внизу тёмным зеркалом лежит Днепр, в нём дрожат те же огни, что и в стекле. Есения прислоняется виском к холодному стеклу и едет дальше, не считая остановок.

Глава 5. Лев картавит

Халат — на крючок. Движение отработанное: левая рука расстёгивает две верхние пуговицы, правая стягивает через плечо, одним заходом, без заминки. Бейдж снимается следующим — «Филин Е. В.». Вешает рядом на тот же крючок.

Смена закончена. Восемь вечера, пятница, впереди — дорога домой и ничего больше.

Кирилл стоит в дверях сестринской. Не отходит в сторону, чтобы дать пройти. Это видно сразу: поза слишком прямая для человека, который просто оказался рядом.

— Есения.

— Что.

— Пойдём кофе выпьем. Мне нужно с тобой поговорить.

— Домой.

Одно слово кажется лишним, но он уже пошёл следом, когда она двинулась к выходу, и дальше идёт рядом, не отставая, подстраивая шаг под её — быстрее, чем привык сам.

— Пять минут.

Коридор неврологии в это время суток пустеет медленнее, чем хотелось бы: Валерия на посту, разговаривает с кем-то из вечерней смены, скашивает глаза на них двоих, когда они проходят мимо. Есения не оборачивается на этот взгляд. Привыкла.

« — Ты же никуда не торопишься», — говорит Кирилл.

— У тебя же не сутки сегодня.

— Не сутки. Но я домой.

Щёки у него красные — не от холода, в коридоре тепло. Руки не находят места: то в карманы халата, то обратно, то поправляет рыжую прядь, которая падает на лоб и тут же возвращается, потому что не держится, потому что не ложится никогда.

Есения отмечает это как симптом, не как просьбу. Тахикардия эмоциональная, не физиологическая. Голос громче, чем в разговорах по делу — обычно он спрашивает про дозировку спокойно, а сейчас тянет слова, будто боится, что она сорвётся с места раньше, чем он договорит.

Такое уже было. Три месяца назад, в курилке у приёмного, он стоял так же близко и спрашивал, какой у неё график на следующей неделе. Потом — после ночной смены, провожал до остановки и рассказывал про ординатуру, которую выбрал сам, по сердцу.

Она тогда отвечала коротко. Он не считывал.

« — Я правда пять минут», — говорит он снова, будто повтор меняет содержание просьбы. — Мне нужно кое-что сказать. Важное.

— Говори здесь.

— Здесь неудобно.

Удобно ему, значит, не здесь, а где-то с кофе, со временем, с возможностью развернуть разговор во что-то большее пяти минут. Она это видит так же ясно, как видит отёк на

лице пациента после инсульта: форма жалобы одна, суть — другая.

Коридор заворачивает к лестнице, пахнет хлоркой с привычной силой, где-то вдалеке скрипит каталка.

Устраивать сцену здесь, на виду у поста, не хочется. Проще дойти с ним до остановки, выслушать то, что он собирался сказать, и там же, на остановке, закончить разговор окончательно, без свидетелей и без Валерии, которая потом разнесёт любую фразу по этажу в искажённом виде.

« — До остановки», — говорит она. — Дальше — домой. Одна.

Кирилл кивает слишком быстро, будто боится, что она передумает, если он замешкается хоть на секунду. Руки всё так же не находят покоя — одна поправляет лацкан халата, который он так и не снял.

Они выходят через служебный вход, минуя главный холл. На улице темнеет быстрее обычного, сентябрь укорачивает вечера без предупреждения, фонарь у крыльца горит через один.

Кирилл идёт чуть впереди, потом сбоку, ищет темп, при котором сможет начать говорить и не сбиться. Есения идёт, не ускоряя и не замедляя шаг, считает его про себя.

Молчание между ними не её — его. Он копит слова, как перед прыжком в холодную воду, и это видно по тому, как он несколько раз открывает рот и снова закрывает, прежде чем они доходят до перекрёстка.

* * *

« — Я с третьего курса знал, что неврология», — говорит Кирилл, почти не глядя на дорогу под ногами, спотыкается о бордюр и не замечает. — Не из-за баллов. Не из-за того, что конкурс меньше. Просто… мозг. Понимаешь? Там всё — внутри. Человек говорит, двигается, помнит — а почему, откуда это всё, никто толком не знает. Это как…

Он не договаривает, машет рукой, будто пытается поймать слово в воздухе.

Есения идёт рядом, считает шаги. Двадцать два. Двадцать три.

— Был у нас пациент. Я был уже в ординатуре. — Голос у него садится, становится тише, будто придавлен чем-то изнутри. — Савельев. Виктор Палыч. Инсульт, стволовой. Я с ним возился две недели, разговаривал, хотя он не отвечал почти. А потом он…

Кирилл замолкает на середине фразы. Поправляет волосы.

— Умер, — договаривает он сам за себя. — Я тогда первый раз за всё время заплакал. Дома, один. Думал, вид покажу — реветь, как не настоящий врач. «Р» в «реветь» выходит мягким, почти без согласного звука, горловым, детским.

— И вот с тех пор, — говорит он, и голос снова набирает силу, — решил: важное — сразу. Не откладывать. А то вдруг не успеешь.

Остановка уже видна, стеклянный короб, внутри лампа

мигает через раз.

Есения смотрит на него сбоку. Веснушки на переносице — за лето не сошли, хотя сентябрь, кожа уже бледнее. Руки не в карманах — одна то и дело взлетает вверх, рисует что-то в воздухе, то опускается, трогает пуговицу халата. Взгляд прямой, не уходит в сторону, даже когда говорит про слёзы — не прячет, не стесняется. Симптомокомплекс цельный: дрожь голоса на имени умершего, участившееся дыхание, покрасневшие уши.

Искренность. Чистая, без примеси, как в учебнике.

Она фиксирует это так же, как фиксировала бы тремор у пациента — подробно, безоценочно, без вывода. Не повод для ответа. Повод для записи.

— Савельев, — повторяет она вслух.

Кирилл вспыхивает, будто получил больше, чем рассчитывал.

— Да. Виктор Палыч. — Он снова поправляет волосы. — Я вообще… не рассказывал это никому. Матери рассказал один раз, и то не так подробно.

Он смотрит на неё — ждёт. Не слов даже, а чего-то на лице: дрогнувших бровей, смягчённого взгляда, хоть какого-то ответного движения.

Лицо у неё держит форму. Ровная линия губ, взгляд чуть мимо, туда, где за остановкой начинается стоянка, на ней одна машина, занесённая палой листвой по стекло.

И где-то под этой ровностью — короткий укол, нечаян-

ный, как заноза, которую не заметил, пока не нажал пальцем. Марк тоже умел так: открыться первым, назвать имя боли, протянуть её, как улику. У Кирилла расчёта нет. Или она его не видит.

«Недостаточно данных».

Остановка близко, фонарь над ней гудит едва слышно, тем старческим звуком, какой бывает у ламп дневного света перед тем, как перегореть.

— Приятно, что ты так спокойно… — начинает Кирилл, и голос снова дрожит, уже от другого — от напряжения, которое копилось всю дорогу и вот-вот выплеснется.

* * *

У автомата Кирилл останавливается резко, будто вспомнил, что здесь можно купить время.

« — Тебе какой», — говорит он уже на ходу, не дожидаясь ответа, нажимает кнопку, монеты проваливаются с лёгким стуком. Машина гудит, набирая воду.

Есения стоит в шаге позади. Смотрит, как на экране мигает цифра «тринадцать» — очередь на сдачу, неисправность старая. Автомат выплёвывает стакан, потом второй. Кирилл берёт оба за ободки — горячо, — перекладывает из руки в руку.

— Держи. С сахаром не стала бы, я помню.

Протягивает стакан. Пар поднимается узкой лентой, тает в свете фонаря над проходной.

Она не берёт.

— Я не просила тебя об этом, — говорит ровно, без нажима, так же, как говорила бы пациенту, что капельница поставлена, можно отдыхать.

Рука со стаканом зависает между ними. Кирилл моргает, будто фраза дошла с опозданием, через два такта.

« — Это же просто кофе», — говорит он, и голос садится вниз, на полтона тише обычного. — Не предложение руки.

Пытается улыбнуться. Улыбка выходит неровной — один уголок рта выше другого, как бывает, когда человек улыбается заранее, не дождавшись повода.

Молчание держится секунду, может, две. Для него — дольше. Есения видит, как у него дёргается кадык, как взгляд соскальзывает на стакан в своей руке, будто там написан ответ.

— Ладно, — говорит он, и смех выходит коротким, искусственным, застревает в горле. — Можешь хотя бы… постоять рядом, пока я пью?

Она не отвечает. Поворачивается в сторону остановки, где уже видно жёлтый бок троллейбуса, идущего по кругу, с объявленным интервалом в семь минут, который никогда не держат.

— Подожди.

Пальцы смыкаются на её запястье выше часов — не грубо, скорее, как хватаются за перила на крутой лестнице. Тёплые, чуть липкие от стакана.

Он смотрит на неё снизу-вверх, плечи подались вперёд,

ссутулились, как у человека, который понимает: ещё секунда — и уйдёт последний шанс договорить.

« — Я тебе такое рассказал», — говорит он. — А ты — вообще ничего. Как будто я почту зачитывал.

Есения смотрит на его пальцы на своей руке. Фиксирует: хват не силовой, давление слабое, легко высвободиться одним движением. Фиксирует пульс у себя — ровный, без ускорения. Фиксирует его лицо — покрасневшие уши, расширенные зрачки, дыхание через рот.

Тренированное движение, без замаха: поворот кисти вниз и в сторону, ладонь выскальзывает из хвата, будто никогда там и не держалась.

« — Мне нужно идти», — говорит она, и в голосе ничего: ни холода нарочитого, ни извинения.

Троллейбус подкатывает к бордюру с шипением тормозов, двери разъезжаются с запинкой на середине хода, как и много лет назад. Она делает три шага, поднимается на подножку, протягивает карту к валидатору. Тот пищит, зелёный огонёк.

Двери закрываются. За стеклом, в жёлтом свете фонаря — Кирилл со стаканами в обеих руках, один из которых всё ещё протянут туда, где её уже нет.

Она садится у окна, не у прохода, — туда, откуда видно стоянку, ту же машину в палой листве. Не оборачивается на остановку. Троллейбус трогается с рывком, каковой всегда одинаковый, как маршрут, который она знает наизусть.

За окном фонарь остаётся позади, мигает через раз, потом

гаснет совсем — расстояние съедает.

* * *

Кирилл не уходит. Стоит на том же месте, где она его оставила, плечи опущены, один стакан всё ещё протянут немного вперёд, будто кто-то может вернуться за ним. Фигура в свете фонаря делается меньше — не из-за расстояния, а потому что сам он как будто садится внутрь себя, теряет сантиметры.

Марк тоже умел так. Стоять после её ухода, не двигаясь, пока она не обернётся. Но там был расчёт: ровно до того момента, пока она не обернётся, и ни секундой дольше. Здесь — иначе. Кирилл не считает время. Не ждёт её взгляда. Просто стоит, потому что не знает, что делать дальше, когда план не сработал.

Разница есть. Температура та же, а характер боли другой. Вывод не делается.

Телефон в кармане его куртки вибрирует — она видит это по движению — Кирилл дёргается, суёт руку в карман почти испуганно, будто ждал звонка и боялся его одновременно. Подносит к уху. Свет фонаря ложится на его лицо сбоку, и видно, как меняется выражение: сначала растерянность, потом что-то собранное, рабочее, узнаваемое — она видела такое лицо у коллег, у всех, кто слышит слово «срочно» через трубку.

Говорит он недолго, пару фраз, кивает. Потом опускает руку со стаканом вниз, будто тот стал ненужным сразу, целиком, без остатка.

Разворачивается. Шаг быстрый. Возле урны — коротким движением, не глядя, — выбрасывает оба стакана, свой и её, несделанный, так и не выпитый. Крышка одного отскакивает от края урны, катится по асфальту, он не замечает — или замечает и решает, что не важно.

Троллейбус выходит на прямую, набирает обороты. Фонарь на остановке остаётся позади, мигает ещё раз и тонет в темноте вместе с фигурой, которая бежит к стеклянным дверям приёмного.

Есения смотрит на пустой тротуар ещё секунду. Потом отворачивается от окна — потому что смотреть больше не на что. Стекло холодное у виска, она слышит, как гудят колёса — ровно, без сбоев, — и думает: вот человек, которому только что отменили вечер за один звонок, и он побежал без колебаний.

Она бы тоже побежала. Не из чувства долга — из привычки. Привычка сильнее многого. Сильнее обиды, сильнее неловкости, сильнее того, что говорят про тебя за спиной.

Марк на её звонки не бежал. Выжидал, сколько прилично выждать, чтобы она решила, будто он очень занят, очень нужен, очень важен. Кирилл даже не выжидал. Просто сорвался с места, будто там, в больнице, случилось что-то, что важнее всего.

Температура та же. Характер боли другой.

Она не подводит итог, не делает диагноз там, где симптомов слишком мало, а анамнез неполон. Просто фиксирует:

есть отличие.

Троллейбус сворачивает на мост, внизу тускло блестит Днепр, и по правому борту проезжает остановка, где раньше стоял другой человек с другим стаканом, тоже протянутым, но тогда взятым.

Есения прикрывает глаза на секунду, потом открывает снова, смотрит прямо перед собой: в спину водителя, в надпись над лобовым стеклом про льготный проезд, в любую точку, которая не требует сравнения ни с чем.

* * *

Дверь квартиры закрывается на два оборота — привычка, выросшая не из страха, а из желания слышать щелчок дважды.

Куртка снята у порога. Форма — на спинку стула в кухне, рукав к рукаву, воротник наружу. Завтра гладить не придётся. Чайник включён без цели его пить: просто звук, просто свет на панели, просто что-то, что происходит в квартире, кроме неё самой.

Она садится за стол, не разворачивая стул, смотрит в точку на обоях, где раньше висел календарь.

Кирилл и Ян Викторович. Два человека, два отделения, одна больница. Один — кричит о боли вслух, с подробностями, с именем умершего пациента, с голосом, который садится на «р». Другой — садится напротив в столовой, молча, ест рыбу без ножа, уходит с коротким «приятного аппетита», будто сказал это впервые в жизни и сам удивился.

Разные стратегии. Один атакует откровенностью, рассчитывая, что откровенность обезоружит. Другой не атакует вообще.

Савельев. Виктор Савельев. Имя всплывает отдельно от Кирилла, как будто принадлежит не ему, а вечеру на парковке, фонарю, что мигал через раз. Кирилл плакал. «Р» у него мягкое, детское, когда он произносит «впервые» и «решил». Честно. Это слово подходит — честно. Не наигранно.

Но честность — не повод. Чайник щёлкает, выключается сам, вода закипела без надобности. Она не встаёт заварить чай. Просто слушает, как остывает металл внутри, тонкий тикающий звук, который не имеет названия в её словаре.

Два отказа за один вечер. «Домой» — Кириллу у сестринской. «Я не просила тебя об этом» — у автомата. Обычная арифметика: после закрытой двери становится легче. Так было всегда, — по расписанию, по графику смен, по будням и выходным — отказ, пауза, облегчение, как будто выдохнула после долгой задержки воздуха.

Сегодня арифметика не сходится.

Она ждёт привычного чувства — чего-то похожего на снятие жгута после капельницы: короткую боль и сразу за ней свободу. Ждёт минуту, другую. Сидит неподвижно, руки на столе, ладонями вниз, как будто меряет пульс через столешницу.

Ничего.

Не облегчение. Не вина. Не сожаление о том, что не взяла

стакан кофе из вежливости. Что-то ровное, без амплитуды, без зубцов — как кардиограмма, которую смотришь и думаешь: где же пик, должен быть хоть один пик, иначе это не жизнь, а артефакт прибора.

Она пробует назвать это усталостью. Не подходит — усталость тяжелее, у неё есть вес, она ложится на плечи; а это — нет, это пусто, невесомо, не давит и не отпускает, просто есть, параллельно с ней.

Пробует назвать разочарованием. Тоже нет. Разочарование предполагает ожидание, а она ничего не ждала ни от Кирилла, ни от себя с её отказами.

Встаёт, подходит к окну. За стеклом — двор, фонарь, который мигает ровно, без сбоев, без драмы.

Она прикладывает ладонь к холодному стеклу, ощущает разницу температур, фиксирует её как факт.

Два отказа. Одна пустота, не названная. Раньше после двери, закрытой перед чужой откровенностью, приходило что-то вроде диагноза «здорова» — подтверждение, что броня держит нагрузку. Сегодня — ни подтверждения, ни опровержения. Анализ без результата, бланк с прочерком в графе «заключение».

Она отходит от окна, выключает свет в кухне, идёт в комнату, не зажигая его там тоже — глаза привыкают быстро, темнота в квартире знакомая, без препятствий, выучена шагами наизусть.

Ложится поверх одеяла, не раздеваясь полностью, смот-

рит в потолок, где от уличного фонаря лежит косая полоса, чуть дрожащая, когда во дворе проезжает машина.

Пустота не уходит и не растёт. Остаётся ровной. Она закрывает глаза, думает: недостаточно данных, — и впервые эта фраза не кажется окончательной. Кажется, черновиком. Кем-то не дописанным диагнозом, который завтра, возможно, допишут новые симптомы.

Она не знает чьи. Засыпает раньше, чем успевает это решить.

Глава 6. Анамнез семьи

Телефон звонит в семь двадцать.

Экран высвечивает «Мама» на фоне потолка, который ещё не стал потолком, а остаётся серым пятном без формы — таким, каким видит его зрение, не успевшее проснуться. Звук стоит на вибрации с громкостью — так настроено с колледжа, с первого дежурства, когда боялась проспать ночной вызов. Будильник из дежурной жизни.

Есения не берёт трубку на первом гудке. Не берёт и на втором. Лежит, слушает, как звук проезжает по комнате и возвращается, думает: рано, слишком рано для субботы; мама знает расписание смен наизусть, значит, не ошиблась — выбрала.

На третьем берёт.

— Да.

Голос выходит не её — плоский, со сна, без той ровности, которую она надевает обычно раньше, чем успевает открыть глаза. Форма ещё не на месте, как шапочка, которую не успела заколоть перед обходом.

— Ты спишь ещё?

Не вопрос. Фраза построена так, что ответ в ней уже есть, и ответ этот — упрёк. В восьмом часу спать нельзя. Даже в субботу. Даже после суток через сутки.

— Да.

— Я думала, ты встаёшь в семь.

— Сегодня нет смены.

Пауза на том конце — короткая, ровно настолько, чтобы Есения успела сесть, спустить ноги с кровати на холодный пол, выпрямить спину. Так же механически, как поправляет манжету тонометра на руке пациента: не из заботы о себе, из протокола. Разговор с матерью требует определённого положения тела. Лёжа говорить нельзя — услышит это тоже.

— Как у вас там. Осень началась, поди, завал.

— Обычно. Два инсульта новых. Один — тяжёлый, без речи почти.

— У нас то же самое. В сентябре всегда так. Дети после каникул — сорванная речь, сорванный слух, всё по новой собирать. Будто лета не было.

Ольга Германовна говорит про своих детей так, как другой человек говорит про урожай.

— У тебя нагрузка какая. Сколько человек на смену.

— По-разному. Вчера четырнадцать.

— Это много.

— Норма.

Есения трёт лицо ладонью, чувствует складку от подушки на щеке, не спешит её стирать. За окном ещё не рассвело до конца — серое, плотное, без контуров; сентябрь в Смоленске всегда начинается с такого утра, будто лето закрывают резко, одним движением, без перехода.

« — Осенью всегда тяжелее», — говорит мать, и это зву-

чит как итог, как строчка в её собственной карте наблюдений, не требующая подтверждения. — Людям нехватка солнца на организм действует. Я по детям вижу. Раздражительность, сон сбивается.

— У нас то же.

Это не ложь и не правда — просто фраза, которая закрывает тему раньше, чем мать успевает в неё углубиться. Есения слышит, как на том конце что-то звякает — кажется, чашка о блюдце, — и по этому звуку представляет кухню в их новой квартире, которую видела всего несколько раз, с той же плиткой на стенах, с теми же занавесками, что были в доме в посёлке, перевезёнными, будто без них мать не смогла бы готовить завтрак.

— Отец спрашивал про тебя вчера.

— Что спрашивал?

— Просто спрашивал. Как ты.

Это не вопрос и не новость, это способ напомнить: тебя помнят, тебя обсуждают, когда тебя нет рядом, — и Есения кивает в пустоту своей квартиры, хотя мать этого не видит.

Полшага в сторону начинается без предупреждения, как всегда, — мать делает его голосом, который чуть меняет регистр, становится легче, будто бы между делом:

— А как у тебя на личном?

Произносит быстро, будто боится, что передумает и не задаст этот вопрос. Маму это интересует с тех пор, как она рассталась с Марком.

— Всё отлично. Я влюблена в себя и в свою работу.

— Хм. Есения. — В голосе проступает капля раздражения, но она понимает, что это не конец, и переключается на питание: — Ты ешь вообще нормально? Или опять одно и то же.

— Нормально. Готовлю.

Это неправда, но такая неправда, которую обе примут без проверки, потому что проверить нельзя, а спорить не о чем.

Разговор катится дальше по знакомой колее — про отделение, про нехватку персонала, про то, что молодёжь не идёт в медицину, про соседку — голоса обеих становятся ровнее с каждой минутой, будто по мере удаления от той единственной фразы про личную жизнь температура разговора возвращается к норме.

Есения слушает в пол-уха, смотрит на серый прямоугольник окна, думает о том, что мать так и не спросила о том, что её интересует больше всего. Спросила только то, что безопасно, — и не продолжила.

Обе знают, о чём молчат.

Обе не умеют сказать это вслух.

* * *

Мама делает паузу — не ту, что бывает, когда ищешь слово, а ту, что готовит переход. Есения слышит это по дыханию: вдох чуть длиннее обычного.

— А что у тебя с тем мужчиной из поликлиники?

Голос становится легче, почти праздничным, как будто

мать заранее знает ответ и только ждёт подтверждения.

— Рыженький такой. Доктор. Я когда приезжала, пару месяцев назад, видела — он на тебя так смотрел. Прямо вся его заинтересованность на лице. Он ещё мне понравиться пытался, спросил про твоё расписание как бы между делом.

Поликлиника. Есения на секунду замирает с телефоном у уха, не отвечая сразу. Сама мать рыженького вряд ли бы вспомнила — это отец, видимо, навёл её на мысль, когда Есения недавно что-то ему рассказывала и вскользь обронила имя Кирилла. А он передал жене своими словами — и слова по дороге потеряли точность, как любая вещь теряет форму, пройдя через вторые руки.

Рыженький. Это про Кирилла — больше не про кого. Картавый, с историей про Савельева, с обидой, растянутой после разговора на этой неделе.

« — Это коллега», — говорит Есения.

Слово ложится плоско, без интонации, как последняя строчка в выписке. Она ставит его туда же, где обычно ставит все формулировки, которые должны закрыть тему: «нормально», «ничего», «не о чем говорить». Три слога, и дверь закрыта на оборот.

— Коллега, — повторяет мать, будто пробуя слово на вес, проверяя, нет ли внутри пустоты.

Пауза после этого длится ровно столько, сколько матери нужно, чтобы решить: толкать дальше или нет. Есения представляет, как она сейчас сидит на кухне, та же плитка на сте-

нах, та же чашка на блюдце, — и взвешивает не слова дочери, а собственное желание знать больше, чем ей готовы сказать.

Решает не толкать.

— Ясно, — говорит мать, и голос снова меняет регистр, возвращается в прежнюю колею, будто и не сворачивал никуда.

Есения слушает про творог, про кошку, про цены, которые идут вверх быстрее, чем зарплаты, и думает не об этом. Думает о том, что мать не спросила имя. Не спросила, как его зовут, этого «коллегу», не уточнила, давно ли они знакомы, не поинтересовалась, где он учился.

— ничего из того, что спрашивают, когда хотят понять, с кем имеют дело.

Не хочет знать правду. Хочет услышать, что всё в порядке, — и как только услышала три нужных слова, успокоилась, отступила, вернулась к творогу.

— У тебя зонт есть нормальный? — спрашивает мать. — А то осень начнётся, а ты вечно без зонта ходишь.

— Есть.

Разговор снова катится по знакомой колее, ровно, без единого выступа, и Есения отвечает односложно, глядя в окно, где свет за стеклом становится чуть плотнее — восемь двадцать с чем-то, суббота только разгоняется. Она думает о том, что правильнее было бы сказать матери не «коллега», а то, что было на самом деле: отказ, настойчивость, два стакана кофе, выброшенные Кириллом по дороге на срочный

вызов. Но это потребовало бы объяснений.

Проще — коллега. Проще сказать — ничего особенного. Проще — когда всё в порядке.

Мать принимает проще, потому что проще не болит.

* * *

Трубка ложится на тумбочку, экран гаснет, и комната остаётся такой, какой была до звонка: серой, с полоской света вдоль занавески, где рама не прилегает плотно и тянет сквозняком. Занавеска чуть колышется — не ветром, а разницей температур, за стеклом и внутри. Есения смотрит на неё, не на часы.

Пять-шесть звонков в месяц. Она считает автоматически, как считает шаги по коридору отделения, — не потому что нужно, а потому что так устроена голова: фиксирует без спроса. Пять-шесть раз мать набирает номер, спрашивает про отделение, про зонт, про творог. Ни разу — впрямую. Ни разу — «как ты, доченька». Это слово мать вообще не произносит с какого-то момента; Есения даже не помнит, с какого.

Данных достаточно для диагноза: мама звонит, чтобы услышать подтверждение нормы. Не чтобы узнать, что происходит, — чтобы узнать, что ничего не происходит.

На коже остаётся ощущение, как после йода на ссадину — щиплет, потом проходит, потом забываешь. «Будь проще» мать не произносила этими словами в последние годы — формула изменилась, обтесалась, но суть та же. Есения зна-

ет эту последовательность наизусть: подход, короткий укол, отход. Как инъекция — быстро, почти не больно, если не сопротивляться.

Она сидит, одеяло ещё держит форму тела, тёплое с той стороны, где спина. За окном — суббота только разгоняется; где-то во дворе хлопает дверь подъезда, кто-то выносит мусор, звук долетает приглушённым, сквозь двойные рамы.

Полагается позвонить Максиму. Не потому что хочется услышать голос, не потому что соскучилась — соскучиться по брату странно, это как соскучиться по расписанию электричек. Полагается, потому что выходной без семейных звонков это не выходной. Процедура. Не обязательство перед ним — обязательство перед формой недели.

Есения тянется за телефоном, одеяло сползает с колена, тепло уходит быстрее, чем она успевает об этом подумать. Пальцы находят имя в списке контактов — «Максим», без фамилии, без эмодзи, которые любит ставить мать рядом с именами родных. У матери в телефоне наверняка стоит сердечко рядом с «Есения». Или не стоит. Она не знает и не станет спрашивать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.